

НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ

СКАЗКА МОЕГО ДЕТСТВА

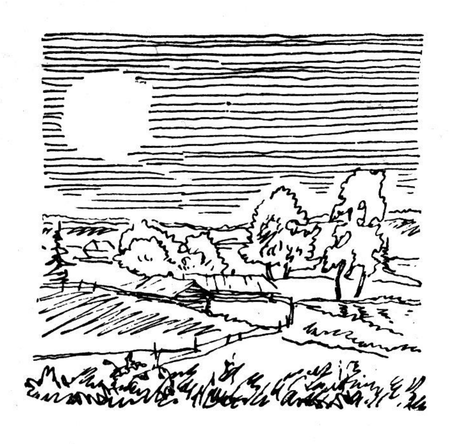
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ

СКАЗКА МОЕГО ДЕТСТВА

ПОВЕСТИ, СТИХИ



МОСКВА
"ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1976

Р2
Р95

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

РИСУНКИ Ю. ИГНАТЬЕВА

Р $\frac{70803-360}{М101(03)76}$ 255—76



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ-ЧИТАТЕЛИ!

Вы, наверно, немножно удивитесь, найдя под одной обложкой в этой книге и прозу и стихи, которые редко уживаются рядом. Весьма возможно, что у вас возникнет вопрос: почему автор, начавший писать стихи еще в ранней юности, а за прозу взявшийся только дожив до седых волос,— открывает томик своих избранных произведений не стихами, а прозой. Мне хочется надеяться, что каждый, кто прочтет книгу до конца, сам поймет мой замысел. И все же я считаю необходимым сказать хотя бы несколько предваряющих слов.

В помещенных здесь автобиографических повестях «Сказка моего детства» и «Мне четырнадцать лет» я рассказываю о тех днях и годах, которые имеют решающее значение в формировании характера человека, определяют его интересы и склонности и, в конечном итоге, предрешают самый выбор жизненного пути.

Я взрастал в глухой Смоленской стороне, среди ее дремучих лесов и овражистых полей, лицом к лицу с ее неяркой, но удивительно певучей природой.

И люди, окружавшие меня, были под стать этой природе. С виду суровые, немногословные работяги, они таили неиссякаемые запасы сказок и присказок, песен и припевок, пословиц и поговорок.

Раннее детство мое прошло в предреволюционной деревне, а впервые задумываться о жизни я стал в ту пору, когда начал ломаться отстоявшийся в веках быт.

В отрочестве я мечтал получить звание учителя и пойти работать в сельскую школу, но в то же время поти-

хоньку слагал стихи, еще не допуская и мысли, что они когда-нибудь станут для меня главным делом жизни.

Словом, автобиографические повести, написанные много лет спустя, являются своеобразным предисловием к стихам, раскрывают их глубинные, родниковые источники, как я теперь эти источники вижу и понимаю.

Звание учителя я получил, но работал в школе очень недолго. Меня позвали иные дороги, дороги поисков живого слова. Первые мои стихи появились в смоленских газетах в 1926 году, но профессиональным литератором я стал не скоро. До этого я пахал и сеял землю, учил детей и учился сам, был журналистом, командовал на войне саперным взводом, работал в книжном издательстве.

Мне пришлось исходить немало дорог, но отовсюду я возвращался к своим истокам — на древнюю смоленскую землю, где не раз в течение веков перекрещивались пути русской истории, откуда в русскую культуру пришли такие корифеи ее искусства, как Глинка и Коненков. Здесь, на родной мне почве, органически выросли три основных моих темы, которым я был верен всю жизнь. Эти темы — русская природа, русская история, русское искусство. За всем этим везде стоит русский человек.

Так отбирались стихи и для настоящего издания, куда вошла лишь небольшая часть из написанного мной за многие годы работы.

Вот, в сущности, и все, что мне хотелось предварительно сказать вам, дорогие друзья-читатели. Но, поскольку в книге после прозы идут стихи, я не могу обойтись без них и здесь.

Я не играл словами, помня,
И в стужу лютую, и в зной,
Что у меня деревня Ломня
Есть на Смоленщине лесной.
Там я взрастал в хлебах и травах
И всюду шел с друзьями в ряд.
Слов неправдивых, слов лукавых
Мне там вовеки не простят.

Н. Рыленков



ПОВЕСТЬ



ПАМЯТЬ

Когда мне случается рассказывать детям что-нибудь о моем раннем детстве, о людях, живших в нашей деревне, они слушают внимательно, но в конце всегда спрашивают:

— А ты это не сказку нам рассказал? Ты ведь сочинять мастер!

Вначале такие вопросы меня обескураживали и даже немножко обижали, но потом, подумав хорошенько, я понял, что обижаться тут нечего, что нашим детям и в самом деле очень трудно поверить в подлинность той жизни, которую мы видели и которой мы жили сами в годы нашего детства где-нибудь в глухой лесной стороне. Она им и вправду кажется сказкой, и веет от нее на них далекой-далекой стариной.

А ведь было это не так уж давно.

Я родился в самом конце первого десятилетия двадцатого века, когда уже отгремела первая русская революция и приближалась первая мировая война.

И, подумав об этом, я пришел к убеждению, что обо всем виденном и слышанном мною в детстве мне непременно нужно написать. А чтобы и тут не подумали, будто я опять рассказываю сказки, я решил сохранить подлинные имена как уже умерших, так и живых еще земляков-односельчан. Пусть простят меня, если я вольно иль невольно потревожу память одних и заставлю других вспомнить о том, о чем они, может быть,

хотели бы забыть. Не все, наверно, что будет рассказано мной, я запомнил сам, кое-что, конечно, услышано потом от матери и отца, от сестер, старших приятелей и других близких мне людей, но все это так переплелось в моей памяти, так глубоко вошло в душу и сердце, что я уже при всем желании не всегда могу отделить то, что видел, от того, что слышал. Да и так ли уж нужно отделять одно от другого, если все это вместе и было тем воздухом, которым я дышал!

Мне всегда казалось, что я начал помнить себя очень рано, чуть ли не с колыбели, и мог бы со всеми подробностями рассказать, как, например, мать отучала меня от груди, пугая спрятанным за пазуху лоскутом косматой овчины, как носила под куриный насест лечить от криков, как я в первый раз пошел по полу.

Старшие сестры убедили меня, что запомнить всего этого я сам никак не мог, но что у нас в семье долго и много говорили об этом, и только потому я знаю все подробности самых ранних событий в своей жизни.

Что ж, может быть, они и правы. Даже наверное правы. Но разве от этого что-нибудь меняется? К тому же я собираюсь рассказывать вовсе не историю своего раннего детства, а только свои первые впечатления от той жизни, которая окружала меня в те годы и которая теперь кажется такой невероятной вследствие великих перемен, происшедших как в жизни народа, так и в судьбах отдельных людей. Вполне естественно, что люди, пережившие подобные перемены, вспоминая свое детство, ставшее уже далеким прошлым, глубокой стариной, рассказывают прежде всего и охотнее всего именно о том, что молодежи кажется особенно разительным. Но ведь правда от этого не перестает быть правдой, даже становясь сказкой, легендой, которые как бы проявляют и закрепляют ее отстоявшиеся во времени черты.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Впервые ощутил себя, почувствовал, что живу и хочу жить, я после какой-то продолжительной болезни на грани младенчества и детства. Проснувшись, вернее, очнувшись среди бела дня, я сладко потянулся, протер

исхудавшими ручонками глаза, увидел залитую мягким светом избу, услышал знакомые голоса — отца, матери, бабушки, сестер,— и как-то сразу все мое тело, все маленькое существо наполнилось радостью пробуждения. Я сбросил с себя дерюжку, сел на постели и засмеялся.

Мать тут же подбежала ко мне и, чуть не плача от радости, начала целовать, пытаясь снова уложить меня и завернуть в дерюжку. Но мне уже давно надоело лежать. Я упрямо выкручивался у нее из рук, болтал ножонками, словно набирался сил от каждого ее прикосновения.

Был праздничный зимний день, и вся семья находилась дома. Как и всегда перед праздниками, избу еще накануне прибрали, вымыли, а пол застелили свежей ржаной соломой. Наверно, именно поэтому свет, наполнявший избу, казался мне таким золотистым и мягким.

Мать сделала вид, что рассердилась на меня, и позвала на помощь отца:

— Иван, а Иван, иди-ка сюда, погляди, что твой сын тут выделывает! Я с ним и управиться не могу!

Отец на цыпочках, чуть шурша еще непримятой соломой, подошел к полатям, легонько отстранил мать и взял меня на руки.

— Ну, что, брат, выкарабкался ты из ямы, а? Совсем выкарабкался? — и подбросил меня почти до потолка.— А был ты в глубокой яме. Ох, глубокой! Ну, теперь ничего не бойся. Будешь жить до ста лет.

С этого и начинается мое детство. После болезни меня еще долго, почти до самой весны, не выпускали на улицу, да и в избе не давали вдоволь набегаться, наиграться. Чуть что — и полезай на полати, а то и на печку.

— Береженого и бог бережет,— говорила мать и, вздохнув, добавляла:— Сколько нонче за зиму детей хворь унесла — и подумать страшно!

— Что ж, хворь ходит не по лесу, а по миру,— отвечал обычно отец,— от нее и на печке за трубой не спрячешься.

Мать опасливо оглядывалась, сплевывала через левое плечо и махала руками, словно что-то отгоняя, а я все запоминал. Мне очень не хотелось, чтобы меня

уносила хворь, которая представлялась почему-то в виде злой и страшной старухи с клюкой в руке и с большой торбой за плечами. Поэтому, как только в избу входила какая-нибудь обвешанная сумками нищенка, я опрометью бросался на печку. Хоть отец и говорит, что от хвори спрятаться нельзя даже на печке, но там, за трубой, все-таки безопаснее, хворь не сразу найдет.

А печка у нас была большая, с лежанкой и печурками. Топилась она круглый год: и зимой и летом. Из чела ее всегда пахло чем-нибудь вкусным: свежим хлебом, щами, отварной и пареной картошкой, а иногда и кулагой — ржаной солодовой болтушкой. По ночам, когда все укладывались спать и в избе все затихало, я сквозь сон слышал, как печка вздыхала и даже как будто покряхтывала. Вообще мне всегда она казалась живой, чем-то вроде души избы, какой-то доброй прародительницей всей семьи. Оттого, быть может, она и была такой уютной, так хорошо согревала в зимние сумерки и старых и малых. Недаром именно на печке рассказывала бабушка певучей скороговоркой интересные свои сказки, запомнившиеся нам на всю жизнь сказки про умных дураков и глупых умников. Недаром и вся находившаяся в избе утварь — горшки, кадки, даже солонка на столе — была чем-то похожа на печку, как внучата бывают похожи на бабушку. Да и у всех нас, живущих в избе, я замечал какое-то неуловимое семейное сходство с печкой.

Потом, когда я немножко подрос и мой мир расширился до пределов деревенской околицы, я не раз замечал, до чего же избы похожи лицом на своих хозяев, и не удивился бы, если бы они вдруг заговорили человеческими, знакомыми мне голосами. В глубине души я даже верил, что по ночам, когда люди спят, избы переговариваются между собой.

Но пока я осваивал лишь свою избу, где главное место занимала печка с широкими полатями с двух сторон. Под полатями были устроены темные, глубокие подполья. В одном держали только что окотившихся овец с ягнятами, в другом — телят, которые все время высовывали оттуда свои ласковые мордочки и норовили лизнуть каждого, кто приближался к ним. В подпечье всегда жили кролики, которых у нас называли

трусиками, может быть, из-за их пугливости. Вылезали из-под печки они только ночью, когда в избе гасили свет, и тогда устраивали на полу невероятную беготню, причем кроли, рассердившись на крольчих, со страшной силой топали задними лапками, и я не раз просыпался на полатях от их сердитого стука.

Словом, хоть изба у нас была и большая, но просторнее всего зимой оказывалось все-таки на полатях и на печке. Из-за бабьих прялок и кросен, как назывались ручные станки для тканья, трудно было пробраться даже к окнам, на которых каждый день появлялись все новые и новые диковинки: то серебряные цветы, то какие-то сказочные птицы с длинными хвостами, горевшими на закате золотом. Поэтому-то и тянуло нас, детей, прямо с полатей на улицу, где в морозные утра так празднично белели сугробы, так радостно похрустывал под ногами молодой снежок на дороге, так мерцал и переливался в холодном блеске иней на деревьях, что просто захватывало дух. Особенно нестерпимо становилось сидеть в избе, когда к нам забегали соседские ребятишки похвастаться пойманными на задворках у привады синицами, снегирями, а иногда даже щеглами. После этого я, случалось, ревел целый день. Мне во что бы то ни стало тоже хотелось поймать уж если не снегиря, то хотя бы синицу.

К счастью, болезнь, после которой я стал помнить себя, оказалась последней в моем детстве. Я быстро набирался сил, а с весны, выйдя, как говорил отец, на росу, пошел в рост.

НАША ДЕРЕВНЯ

В старое время каждая деревня обычно имела по нескольку названий, и уж не меньше трех. Первое — казенное, под которым она значилась у начальства, второе — то, каким окрестили себя первые ее жители сами, и, наконец, третье — каким назвали ее насмешливые соседи. И чаще всего именно третье название навсегда прилипало к деревне, как уличная кличка к человеку, так как оно полнее и правдивее всего определяло ее положение среди других деревень, а также характер и состояние жителей.

В казенных бумагах наша деревня именовалась Алексеевкой, но в народе ей дали свое прозвище: Новая Ломня, Корчевка тож.

Дело в том, что когда-то при крепостном праве, как говорит местное предание, наши мужики за какую-то провинность перед своим барином графом Кочубеем были переселены на лесную Смоленщину с Украины. Сели они на пнях и должны были, ломая спины, корчевать их. Отсюда и появились прозвища: Ломня и Корчевка.

Незадолго до крестьянской реформы имение, к которому принадлежала и наша деревня, от графа Кочубея перешло к графу Кушелеву-Безбородко, получившему его в приданое за женой.

Новый владелец, как, впрочем, и прежний, жил либо в столице, либо на Украине и никогда в этом имении не бывал, доверив управление им бурмистру из местных крестьян.

Последним таким бурмистром был мужик из нашей деревни Федор Семенович Ломаченков. О его богатстве я слышал в детстве целые легенды. Говорили, будто, управляя имением, он чувствовал себя в нем полным хозяином и до того разжился, что стал богаче многих окрестных мелких помещиков. В своей деревне он держал мельницу и кабак, имел табун лошадей, а денег накопил столько, что уже не считал их, а мерил мерками. Но все-таки это был не барин.

Правда, мужикам, даже своим односельчанам, он особой потачки ни в чем не давал, но без нужды и не прижимал их, на барщине не морил, поборами не изнурял, а барину все время отписывал, что имение захудало, земля отощала, крестьяне голодают и взять с них нечего. Да, в сущности, так оно и было. Все, что можно, из имения выжимал сам управитель, а мужики радовались уже и тому, что их за каждый пустяк не таскали на конюшню. Это в наших местах сложилась пословица: «Посконная рубаха не нагота, хлеб с половой не голодня».

Когда была объявлена «воля», Федор Семенович решил как можно ниже сбить цену имению и через подставное лицо купить его для себя. И, наверно, купил бы, если бы не помешал знаменитый в нашей мест-

ности вор Сорока, который, стакнувшись с кем-то из многочисленных домочадцев Федора Семеновича, проведал, где хранится его казна, и, воспользовавшись отлучкой хозяина, подобрал к ней ключи.

Обнаружив пропажу, Федор Семенович сразу понял, что обворовать его мог только один Сорока, и бросился к нему с обыском. Перерыли все не только у него в избе и во дворе, а и у соседей, но найти ничего не могли.

Много лет спустя, уже после смерти Федора Семеновича, Сорока, любивший похвастаться своими старыми, не грозившими ему за давностью лет судом похождениями, рассказывал, что уворованные им деньги прятала вся деревня Самозвановка. По его указке бабы насы́пали их в горлачи, а сверху налили молока и поставили их на свету, на подоконники. Молоко тотчас прокисло, и, конечно, никому из производивших обыск и в голову не пришло не только опорожнить хотя бы один горлач, но и просто попробовать сдвинуть его с места.

Впоследствии на эти деньги самозвановцы всем миром купили землю у своего барина Мясоедова.

Кушелев-Безбородко продал имение рославльским мещанам братьям Пригодиным, один из которых был инженером и строил шоссейную дорогу Москва — Варшава, проходившую через Рославль, продал заочно, даже не побывав на месте, а своему бывшему бурмистру за его верную службу подарил сорок десятин земли, оставшейся от нарезки наделов нашим крестьянам. Участок этот находился за речкой, против самой деревни, запирал деревенский водопой. Федор Семенович от огорчения вскоре умер, и большая семья его распалась. Подаренную барином землю наследовали только сыновья хозяина, а братья и племянники сели на полученные ими крестьянские наделы.

На моей памяти среди Ломаченковых, которых было почти половина деревни, уже никто не поднимался до зажиточных середняков, а бедноты расплодилось сколько угодно, даже среди прямых потомков Федора Семеновича, но предания о былом богатстве ломаченковской фамилии держались крепко и передавались из поколения в поколение.

Стояла наша деревня на пологом берегу речки Корчевки, но немножко поодаль, как раз на том месте, докуда уже не доходила вода во время весеннего паводка. Все улицы были обсажены деревьями — дубами, кленами, но главным образом липами, на которых всегда гнездились грачи, а кое-где и аисты, черногузы, как их называли у нас. Трогать аистов, а уж тем более разорять их гнезда строжайше запрещалось. Старики говорили, что обиженный черногуз может в клюве принести горящую головню и поджечь гумно обидчика. Весной для них втаскивали на самые высокие деревья старые деревянные бороны, ободья разбитых колес, поломанные корзины — чтобы легче им было строить себе гнезда.

Возле амбаров росли березы. Их садили и растили для раннего березовика, чтобы не бегать за ним в лес. В лесу березовик собирали целыми бочками — на квас, сохранявшийся в погребах до конца весны. Огороды и гумна обсаживались ветлами. Срубить в деревне дерево, даже на своей усадьбе, позволялось только по мирскому приговору, так как считалось, что деревья — это зеленые сторожа, охраняющие избы от пожаров.

Вообще пожаров в деревне боялись летом больше всего, и каждую весну, перед пасхой, десятский, обычно самый несговорчивый мужик, осматривал все печи. Если находил где-нибудь неисправность, немедленно ломал трубу, и хозяин волей-неволей должен был звать печника. Тот же десятский следил и за состоянием полевых дорог, которые исправлялись сразу после весенней распутицы, до начала пахоты, каждым хозяином против его полосы. У того, кто не успевал к этому времени заровнять промоины и ровчики, десятский забирал ралейный хомут, чтобы нерадивый к мирскому делу хозяин не мог выехать вместе с другими на пашню.

Мосты и гати чинили всем миром в последние дни пасхальной недели, когда за свои дела никто приниматься еще не решался, а за мирскую работу и самый строгий ревнитель благочестия взыскать не мог, так как она была как бы своеобразным обрядом, продолжением праздника. И работали тут все празднично, дружно, словно играючи. Каждый старался показать свою

трудовую сноровку, ловкость и силу, чтобы не ударить в грязь лицом перед соседями.

Вечером на околице устраивали складчину, обмывали новые, весело блестевшие сосновыми бревнами настилов мосты, которые теперь гремели под тележными колесами как-то особенно молодо и гулко.

В складчине принимали участие не только мужики, но и самостоятельные бабы-вдовы, которые сами растили детей и вели хозяйство. Однако у женщин был и свой особый праздник — день выгона скота в поле. В этот день бабы-хозяйки пировали с пастухом, а из других мужиков приглашали по общему согласию очень немногих, и таких «званых» потом все дразнили «бабьими угодниками». Обычно это бывали вдовцы, неприглеженные и неухоженные бобыли, которых сердобольные женщины особенно жалели. На бабьем празднике им отводилось самое почетное место — рядом с пастухом.

Из всех деревенских праздников это был самый шумный.

Подвыпившие женщины до поздней ночи пели и плясали, размахивая цветастыми платками, взметая дорожную пыль яркими кумачными сарафанами и шерстяными домоткаными паневами. Не какие-нибудь молодайки-гулёны, а домовитые хозяйки, души не чаявшие в своих буренушках, оберегавшие их от дурного глаза и недоброго слова, вдруг подхватывали мотив озорной песни:

Выгоняла я корову на росу,
Повстречала медведя во лесу,
Ты, медведюшка, мой батюшка,
Пожалей мою головушку,
Задери мою коровушку.

Мужики, стоя в сторонке, только посмеивались да покачивали головами, глядя на своих расходившихся жен, таких молчаливых, таких суровых ко всем слабостям в обычное время.

Вся деревня уже с весны огораживалась пряслом — в четыре жерди, с воротами в каждое поле. Насколько я помню, такого порядка, какой был в нашей деревне,

не соблюдалось ни в одной из соседних деревень. Вероятно, это объясняется тем, что наши мужики, в сущности, не знали настоящей барщины, той господской «опеки», которая связывала их по рукам и ногам, и в отсутствие барина издавна привыкли к известной самостоятельности.

К нашим полям подступали вековые леса, тянувшиеся на десятки верст — до самого города Рославля. Эти леса для нас, детей, были каким-то особым, почти сказочным миром, где взрослые встречали настоящих живых медведей и лосей, а ходивших по грибы и ягоды баб и девок не раз пугал и заводил в трущобы леший. Правда, самого лесовика никому из них видать не приводилось, но слышать, как он аукается в самое глухое время полдня, слышали многие. Нетрудно представить, с каким трепетным любопытством мы, дети, смотрели на эти леса, то густо-зеленые, то коричнево-желтые, то багряно-золотые, то серебристо-серые, но всегда одинаково загадочные и по-своему прекрасные. Особенно таинственными и страшными они казались нам поздней осенью и ранней весной, когда в сумерках оттуда доносился истошный вой голодных волков. Услышав этот вой, собаки поджимали хвосты и поднимали невообразимый лай.

Перед святками волки начинали табуниться и нередко приходили на самую околицу деревни. От собаки, которая не успевала спрятаться в подворотню, наутро находили только клочья шерсти да розовые пятна крови на снегу. После этого даже ближайший запольный лесок, куда ездили наши мужики ежедневно за дровами, казался нам вместилищем самых невероятных страхов.

И все-таки, чуть только мы подрастали, как нас уже начинало тянуть туда, где кончались поля и начинался лес. Подростками мы пропадали там с весны до осени. Пасли коней, драли лыки, собирали ягоды, грибы, орехи и очень горевали, что не только лешего, а даже и медведя никогда и никому из нас не посчастливилось встретить. А волки оказались совсем не такими уж страшными, и после каждой встречи с ними мы убеждались, что они боятся нас гораздо больше, чем мы их.

Но, кроме большого, настоящего, всамделишного леса, летом у нас был еще свой маленький лес, лес «понарошку». Это шумевшие за избами и окружавшие со всех сторон гумна и пуньки, конопляники. Сеяли коноплю у нас всегда на одном и том же месте, но там, где клали под нее вдоволь навоза (столько, сколько принимает земля, то есть сколько можно запахать в борозду), росла она выше крыши.

Если уход за посевами льна считался бабьим делом, так как не меньше половины волокна шло им на прядево, то за всем, что связано с коноплей, всегда следил сам хозяин. Мало того, что без пеньки в хозяйстве и шагу нельзя ступить было — из нее вили веревки, вожжи, гужи, оборы для лаптей,— она была главным товаром, дававшим хозяину хоть кое-какие деньги на уплату податей и на покупку самых необходимых в обиходе вещей.

Поэтому навоза под коноплю не жалели и землю обрабатывали так, чтобы она рассыпалась, как пух. О рачительности хозяина всегда в первую очередь судили по состоянию посевов конопли. Про тех, у кого она из года в год не удавалась, соседи говорили:

— Ну, какой он хозяин, у него даже конопля на огороде не растет.

Словом, пока нам не было доступа в настоящий, большой лес, мы довольствовались своим малым лесом — конопляниками.

Там у нас были свои потайные стежки-дорожки, свои трущобы, где мы играли со сверстницами в женихов и невест, куда мы скрывались от заслуженного наказания, если бывали застигнуты в чужом саду или огороде. Искать нас там взрослые не решались, боясь поломать коноплю, и мы пользовались этим до самой осени. И сейчас, когда я вспоминаю раннее детство, я прежде всего чувствую густой и какой-то удивительно свежий, бодрящий дух конопляника. А почувствовав его, я как-то яснее вижу сквозь годы и вспоминаю даже то, что казалось давным-давно забытым, забытым навсегда. Недаром наши мужики говорили, что запах конопли вроде нашатырного спирта — отгоняет всякий дурман и угар, проясняет голову.

СЕМЬЯ

В годы моего раннего детства наша семья доходила до двенадцати душ. Хозяином считался мой отец, как старший из двух братьев, хотя жива была еще бабушка и даже прабабушка, которую называли старой бабкой. Дед умер незадолго до моего рождения.

Бабка Марья была маленькая, тихонькая старушка, бесшумно, словно мышка, шмыгавшая по избе. В хозяйство она уже не вмешивалась, передав ключи от клетей и кладовок старшей невестке — моей матери,— а сама все время возилась с внучатами и присматривала за порядком в доме. Особенно много хлопот доставлял ей мой двоюродный брат и ровесник Андрей, которого из-за какой-то болезни его матери кормили молоком из рожка. Он так пристрастился к этому рожку, что лет до пяти не мог отвыкнуть от него, всегда носил его в кармане и был очень жаден до молока. Когда бабка Марья наливала нам с ним молока в одну чашку, как было принято в деревне, он тут же нагибал чашку в свою сторону. Я, конечно, не сдавался и тянул ее к себе. Кончалось это тем, что глиняная чашка падала на пол и разлеталась в черепки. Бабка, не смевшая сама наказать нас, грозила пожаловаться нашим матерям, плакала, но ничего не помогало. Наконец она придумала верное средство заставить нас мирно сидеть за одной чашкой. Налив молока, она клала посредине чашки лучинку и говорила:

— Вот это твоя доля, Андрюша, а это твоя, Колюша. Ешьте.

И мы ели спокойно, не торопясь друг перед другом. Бабка глядела на нас и улыбалась, радуясь своей выдумке. И каких бы огорчений мы ни доставляли ей, она всегда жалела нас, никогда не пожаловалась на нас нашим матерям, выгораживала нас перед ними, повторяя свою любимую пословицу: «Кто мал не бывал, кто пеленок не марал».

Вообще же бабка Марья, хоть она больше всех возилась с нами, видится мне как бы в тени.

Зато старая бабка, прабабка Катерина, крепко врезалась в мою память.

Это была грузная, суровая старуха, которую мы,

дети, очень боялись. В то время ей уже перевалило за сотню, и жила она, как говорили, чужой век. Я понимал это в том смысле, что она отбирает у кого-то из окружающих его годы, что тот не доживет ровно столько, сколько она переживет сверх положенного ей, а это было особенно страшно, тем более что все в деревне считали ее колдуньей, могущей заговаривать болезни и заклинать погоду, накликать дожди и метели, прибавлять и убавлять молоко у коров.

Соседские ребятишки подробно расспрашивали меня, как ведет себя прабабка Катерина, не замечал ли я каких-нибудь ее ведьмовских проделок, например, не оборачивалась ли она когда-нибудь черной кошкой, и мне было очень досадно, что я ничего такого не мог рассказать своим приятелям.

— Эх ты, разиня,— презрительно говорили они,— даже за своей прабабкой подсмотреть не можешь! Вон пастух Петрила небось заметил, как Дарка Петрушина, обернувшись кошкой, выдаивала чужих коров, а когда он за ней погнался, она перекувырнулась за кустом и стала копной сена. Тогда он, не будь дурак, решил поджечь копешку и посмотреть, что с нею будет, да ведьма тоже не сплоховала. Только он достал из кармана спички, как налетел вихорь и всю копешку разнес в клочья. Поди лови ее!

Я знал, что пастух Петрила считался первым выдумщиком на деревне. Бродя за стадом, он от скуки придумывал всяческие небылицы, а потом выдавал их за подлинное происшествие. Но врал он так натурально и, главное, бескорыстно, что ему невольно хотелось верить. Однажды даже свою собственную невестку он прогнал за брусникой на пустошь, где никогда не росло никаких ягод. Когда же она вернулась с пустым лукошком, он искренне удивился: «Как, неужто ничего не нашла? Ай-яй-яй! Ну, значит, это дрозды поклевали, пока ты пришла туда. Надо было поторопиться».

Этот случай произошел недавно, и все на деревне говорили о нем, поэтому и рассказ о Дарке Петрушиной я встретил без особого доверия. Мало ли чего не наболтает Петрила, говорил я, повторяя слова своего отца.

Но у ребят и на это готов был ответ.

— Ну, брат, про ведьму он зря выдумывать не станет. С ведьмами шутки плохи. Вот попробуй-ка ты выдумай, если ничего не видел.

И я действительно ничего не мог выдумать, хотя мне страшно хотелось удовлетворить любопытство приятелей и рассказать что-нибудь необычайно интересное про свою прабабку. Ведь не у каждого ж есть такая прабабка!

— А ты не поспи ночку под ивана-купала и увидишь, как она полетит в трубу. Только не забудь потихоньку вьюшку задвинуть в печи,— учил меня Филька, сирота из соседней деревни, воспитывавшийся у своего деда, нашего однофамильца Прокопа.

Странная дружба велась у меня с этим Филькой Прокопенком. Он не раз жестоко колотил меня, колотил ни за что ни про что, только потому, что был старше, хитрее и сильнее меня, подстраивал всяческие каверзы, как более опытный в ребяческих проказах, а я все-таки тянулся к нему, забывая все свои синяки, и никогда не жаловался на него, тем более что никому другому он в обиду меня не давал. Отец Фильки работал где-то на шахтах и погиб там, попав под какой-то обвал. Мать, еще совсем молодая, овдовев, осталась кухаркой в шахтерской артели, а сына отдала на воспитание деду Прокопу.

Старшие сыновья Прокопа тоже были шахтеры, жили вместе со своими женами и детьми на Юзовке, а младших старик держал при себе, выделывал с ними на всю округу овчины. Все соседи считали его человеком язвительным. Редко о ком говорил он хорошее, доброе слово, но внука-сироту баловал, прощал ему любое озорство. А озоровать Филька любил и умел. Найдет в пустой пуньке приклеившееся к слеге осиное гнездо, похожее видом на большое яблоко белый налив, укажет его малышам и начнет подзуживать: «Попробуйте-ка достать!» Даже шест притащит, а сам в сторонку. Ребята примутся пороть это яблоко, рассердят ос и ходят потом целую неделю с остекленевшими от укусов лицами. А он, как будто ничего не случилось, уже ведет их к старой липе, в дупле которой, по его словам, живет удивительно красивая птица. Ребята карабкаются по шершавой коре, подбираются к дуплу,

кто-то уже запускает туда ручонку, и вдруг оттуда вылетает летучая мышь-кожан, один вид которой приводил нас в трепет. Все тут же падают с дерева, а он стоит в сторонке и смеется:

— Что, красивая птица?

Моего двоюродного брата Андрея он однажды зимой уговорил лизнуть топор, уверив его, что на морозе железо становится сладким, и тот едва отодрал мгновенно примерзший к обуху язык.

Я иногда разгадывал Филькины подвохи, и за это мне тут же доставалось на орехи. Но дружить с Филькой было необыкновенно интересно, так как он знал наперечет все диковинки и на деревне, и за ее околицей. Поэтому долго сердиться на него я не мог и старался во всем слушаться его. Если уж он говорил, что в ночь под ивана-купала можно увидеть все ведьмовские проделки бабки Катерины,— забыть об этом для меня означало постыдно осрамиться перед товарищем, да еще перед каким товарищем — перед самим Филькой!

Дождавшись кануна иванова дня, я старался лечь в постель как можно позже, предварительно проверив, задвинута ли вьюшка в печи, и, прикидываясь спящим, лежал не шевелясь, но всегда в самом деле засыпал. Назавтра мне было стыдно выйти на улицу, где ребята ожидали моего подробного рассказа. А что я мог рассказать?

— Это она нарочно на тебя сон нагнала, чтобы ты не подсматривал,— выручал меня Филька.— Ведьмы, брат, все заранее знают, о чем мы только подумаем.

Ребят такое объяснение вполне устраивало, и они оставляли меня в покое.

В последнее время бабка Катерина жила уже отдельно от семьи, в старой избе. Изба эта стояла во дворе и была построена очень давно, еще тогда, когда плотники обходились без пилы, одним топором, в полном смысле слова рубили срубы. Избы тогда ставили окнами не на улицу, как теперь, а во двор, чтобы не мог заглянуть чужой глаз.

В такой-то избе и доживала свой век моя прабабка.

Когда она совсем слегла, мы, дети, должны были по очереди носить ей еду — завтрак, обед и ужин.

Это было для меня немалым испытанием, особенно если выпадала очередь нести ужин. Зажмурившись, я пробегал через двор, на цыпочках входил в темные сени и с замирающим сердцем открывал дверь в слабо освещенную лампадкой избу, готовый броситься наутек, если вдруг у старухи окажется гость с рожками.

Отец не раз подшучивал над нами, добродушно смеялся над нашими страхами и никогда не разрешал старшим заменить нас, детей.

— Пусть убедятся сами, что никакая нечисть к бабке не приходит, что это одни бабьи сказки,— говорил он.

И самым строжайшим образом следил, чтобы никто не пропускал своей очереди.

Волей-неволей приходилось ходить и днем и вечером в старую избу.

Лежала бабка Катерина в переднем углу на широкой лавке под кивотом с темными ликами святых угодников, где всегда горела лампадка. У изголовья стоял массивный стол с широкой дубовой столешницей, какие бывают в больших крестьянских семьях. За этим столом бабка почти не была видна.

Топила по утрам печку, прибирала в избе и присматривала за свекровью бабка Марья, которой помогала в этом ее приятельница и кума бабка Глушка. Иногда заходил на минутку мой отец, чтобы спросить какого-нибудь совета по хозяйству. В остальное время старуха лежала в полном одиночестве. Мне теперь мучительно стыдно вспоминать, как она иногда пыталась заговорить со мной, как ей хотелось приласкать меня и как я, даже днем, с нескрываемым ужасом смотрел на нее, изо всех сил старался вырваться от нее и поскорее убежать. Да и как я в те годы, в годы самого раннего детства, когда жизнь еще только-только начинается, мог понять чувство одиночества прожившего свой век человека? А сосед наш и однофамилец Прокоп — дегтярное брюхо, про которого рассказывали, что он, лечась от живота, пьет чистый деготь, говорил мне, сидя на завалинке:

— Когда твоя старая бабка станет помирать, обязательно будут поднимать над нею потолочину, а на дырку положат возовой хомут с гужами.

— Это зачем же? — спрашивал я, холодея до пят от страха и любопытства.

— А затем, что только сквозь хомутину между двумя потолочинами черт и может вытащить у ведьмы душу, иначе ему никак невозможно взять ее,— объяснял Прокоп.— Ты все это можешь увидеть своими глазами, если спрячешься где-нибудь в уголке. Только не забудь вокруг себя круг углем обвести и с четырех сторон поставить крестики, а не то худо тебе будет...

Это, конечно, очень страшно, но и очень любопытно — увидеть, как черт тащит сквозь хомутину душу ведьмы. Такое дается не каждому. И я решил во что бы то ни стало присутствовать при последнем часе старой бабки. Но она не умирала, как назло, все еще заживала чей-то чужой век.

СОЛЬ НА ХВОСТ

Все ребята в раннем детстве бывают столь же любопытны, сколь и доверчивы ко всему, что говорят взрослые, понимая каждое их слово совершенно непосредственно, в самом прямом смысле.

Но моя доверчивость в этом отношении, как потом рассказывали старшие и как я иногда вспоминаю сам, должна была казаться чем-то из ряда вон выходящим. Она нередко ставила меня, даже когда я немножко подрос, в очень смешные положения. У нас в семье долго вспоминали такой, например, мой разговор с отцом.

Приходит он как-то утром с гумна, куда ходил за мякиной для овец, и говорит:

— Ну, теперь уж весна совсем проснулась в лесу и вышла на опушку умываться. Я нынче сам слышал, как за Корчевским мостом затрубили тетерева.

— А во что они трубят? — спросил я.— В берестяную трубу, как пастух Петрила, или в сосновый рожок, как его подпаски?

Сестры тут же прыснули в кулак и закрылись фартуками, но меня это нисколько не смутило. Ведь недаром же мать называла их пустосмешками. Стоит ли обращать на них внимание, тем более что и отец цыкнул на них. А меня он ласково погладил по голове и сказал:

— Да нет, сынок. Ни труб, ни рожков у тетеревов не водится. Это только так говорится.

— А почему так говорится? — не отставал я.

— Да потому, что уж очень громко они разговаривают между собой, вроде как бы ссорятся.

Но это объяснение только еще больше разожгло мое любопытство.

— А о чем они разговаривают, зачем они ссорятся? — приставал я к отцу.

— Да мало ли у них причин для ссор,— улыбнулся отец.— Один кричит: твой батрак у моего батрака топор отнял, скажи своему батраку, чтобы топор отдал. Другой отвечает: твой батрак на моей делянке сосну срубил. Скажи своему батраку, чтоб за межу не ходил...

Тут уж не только сестры, а и все, кто был в избе, рассмеялись — так похоже передавал отец бормотание тетеревов. Мне тоже понравилось, что отец может разговаривать по-тетеревиному, а раз уж он знает их язык, значит, ему досконально известна вся их жизнь, весь их лесной распорядок, и я уже не мог остановиться.

Мне во что бы то ни стало нужно было узнать, каких же птиц нанимают себе тетерева в батраки и почему одни из них богаче, а другие беднее.

Сестры больше не выдержали и, давясь от смеха, бросились за дверь. Рассмеялся и отец.

— Вот пристал! Никаких батраков у тетеревов нет. Я уже тебе сказал, что это только так говорится. Понял?

Я ничего, конечно, не понял, но, чтобы не огорчать отца, согласно кивнул головой.

— А если понял — ступай на полати,— приказал отец.

Однако, улегшись на полати, я не сразу успокоился и долго раздумывал о том, зачем это взрослые, которые все знают, говорят о том, чего в самом деле не бывает. Или они почему-то не хотят сказать детям всю правду? Но почему? Почему? И самое обидное тут для меня было в том, что даже отец, которого я так любил и который сам, как я чувствовал, любил меня не меньше, даже он оказался таким же, как и все другие. Поэтому обидно было мне не только за себя, а и за него,

за отца. И, может быть, за него больше, чем за себя. Я не мог понять, как он, такой большой и умный, не догадывается, что мне нестерпимо больно от его ласкового отшучивания.

Но никого, кроме меня,— ни сестер, ни двоюродного брата Андрея — это нисколько не трогало, и мои нелепые, как всем казалось, вопросы вызывали веселый смех. В лучшем случае ими только забавлялись. К счастью, обида в детском сердце живет недолго и уходит, не оставляя заметных следов. Утром все начинается сначала.

Вот приехал отец из лесу и рассказывает, что там у него чуть ли не из-под ног выскочил большой матерый заяц.

— Заяц,— вскакиваю я, замирая от восторга.— А почему же ты его не поймал, не привез домой?

— Да, понимаешь, забыл соли взять с собой, чтобы насыпать ему на хвост. Без этого его поймать никак невозможно.

Меня очень огорчает, что из-за такой пустяковины, как щепоть соли, отец упустил зайца, и я обещаю:

— Ну ладно, в другой раз, когда ты поедешь в лес, я обязательно напомню тебе про соль.

— Это хорошо, что ты напомнишь,— похвалил меня отец,— только ведь в другой раз заяц может и не встретиться.

Но это замечание я пропускаю мимо ушей, и назавтра, как только отец поверх старенького дубленого полушубка надевает армяк, в котором он всегда ездит по дрова, я указываю ему на солонку: смотри не забудь соль. А то вдруг опять заяц встретится.

Однако заяц на этот раз, как назло, отцу не встретился, а сестры еще долго не давали мне житья, напоминая и за завтраком и за обедом про соль, что сыплют на хвост зайцу.

ОТЕЦ

Отца моего за его высокий рост звали в деревне Иван Большой. Лицом он был смугл и худощав. Бороду отпускал только зимой, а летом всегда сбривал, но зато постоянно носил усы — темные, по концам закручен-

ные в стрелочки и какие-то очень подвижные. Ходил такими большими, размашистыми шагами, что за ним редко кто поспевал, за что получил от друзей и второе прозвище: Иван-недогонишь. Вообще за что бы отец ни брался — все делал быстро: и ел за столом, и работал в поле. Грамоте он начал учиться у отставного солдата Ефрема, а потом окончил церковноприходскую школу в селе Тюнине и слыл по всей округе грамотеем и книгочеем, даже выписывал газету «Смоленский вестник», которую раз в неделю приносил наш родственник Афанасий Васильевич, служивший лесником в казенной даче.

Каждая газета от строчки до строчки прочитывалась вслух соседям, которые собирались у нас по вечерам.

Я неизменно присутствовал при этом чтении, гордясь тем, что читает не кто-нибудь, а мой отец и что ни у кого, кроме него, газеты нет. Еще больше гордился тем, что отец позволял мне оставаться с ним, когда к нему приходил из только что открывшейся в соседней деревне земской школы учитель и они запирались в новой, чистой избе. О чем они говорили, я не понимал, но жадно ловил каждое слово.

Отец, насколько я понимаю теперь, был человек мягкий, очень отзывчивый. Но, как это часто случается с такими людьми, он, чтобы не показать своей слабохарактерности, особенно в семье, по временам вдруг спохватывался и начинал напускать строгости. Больше всех, конечно, в таких случаях доставалось матери, которая при всей своей безответности должна была отвечать за всех: за дочек, за невестку, даже за бабушку и прабабушку.

Чаще всего гроза начинала собираться за столом, во время обеда, когда отец, взяв в руки свежую ковригу и нож, чтобы отрезать каждому домочадцу по ломтю, вдруг обнаруживал, что хлеб испечен недостаточно хорошо, плохо замешен, корка отделилась от мякиша.

— Что это за коврига? — говорил он в таких случаях, подергивая усами и искоса посматривая на мать.— Это не коврига, а ловушка для тараканов! Под коркой их видимо-невидимо набиться может.

— Да у нас, слава богу, и тараканов в избе нет, не

за обедом они будь помянуты,— пробовала отшутиться мать, которая сама пекла хлебы отличные, поджаристые, с пышным мякишем, но не умела потребовать от невестки, чтобы та как следует месила тесто, а плохо замешенное тесто не пропекалось в печке.

— С такими хозяйками не то что тараканы, а и невесть что в дому заведется,— ворчал отец.

Но, если он был в хорошем настроении, на этом все и кончалось, если же у него что-нибудь не ладилось по хозяйству, он уже совсем сердито дергал одним усом, передавал ковригу и нож матери: «Режь сама! Я таким хлебом распоряжаться не хочу и обделять никого не стану»,— и тут же выходил из-за стола, уходил на гумно или в поле, чтобы немножко отойти. И если уж там не отходил, значит, гроза была неминуема. Вступиться в таком случае за мать мог только один я.

До меня у матери родилось четверо детей. Двое из них, мальчики, умерли еще в колыбели. Росли только дочери. Но дочери в крестьянском обиходе считались пустодомками, дом держаться может только на сыновьях. Старший же из сыновей почитался первым наследником и кормильцем родителей.

Сестры мои были намного старше меня. Первая, Таня,— на четырнадцать лет, вторая, Анюта,— на десять. Когда я стал помнить себя, старшая уже начинала «невеститься», а за ней тянулась и вторая. Они со мной охотно нянчились, баловали меня, но жили уже своими, чисто девичьими интересами и подругами в ту пору быть мне не могли. Настоящая, душевная близость с ними у меня установилась гораздо позже, в годы моего отрочества и юности. Отец мечтал дать девочкам образование, вывести их в учительницы. По его настоянию Таня после окончания земской начальной школы поступила в Тюнинское высшее начальное училище, но не доучилась в нем, бросила. Я никогда не мог понять толком, почему она это сделала. Местные учителя давали очень хорошую аттестацию ее способностям и прилежанию. Думаю, что ушла она из училища не без согласия матери, которая считала, что в деревенском быту лишнее учение девочкам ни к чему. Научилась читать-писать — и хватит. Сама она и этого не умела.

Но одного согласия матери в таком деле было все-таки мало, тем более что Таня хорошо знала отцовский характер и не могла ожидать, что отец легко распростится со своей мечтой дать ей образование. Значит, должны были быть какие-то серьезные причины, заставившие ее бросить училище против воли отца.

Вероятнее всего, она чувствовала себя не в своей тарелке среди наехавших в Тюнино из всех окрестных сел и местечек дочерей лавочников, богатых мельников, крупных кулаков, которые задавали там тон. Выросшая в глухой деревушке, в простой семье, она терялась среди них, робела, казалась смешной дурнушкой, а постоять за себя не умела. И она не выдержала, вернулась в привычную деревенскую обстановку. Отец вынужден был примириться с этим и вторую дочь уже не понуждал поступать в училище, чему мать несказанно обрадовалась.

— Вот сына можешь учить сколько хочешь, я перечить не стану, а девок не тронь,— заявила она.

И отец все больше привязывался ко мне, теперь уж на меня одного возлагая все свои надежды. Я очень рано понял все преимущества своего положения и рядом с отцом чувствовал себя маленьким хозяином в доме. И когда отец начинал собирать, как он выражался, семь пятниц в одну, я с независимым видом вставал между ним и матерью и говорил его же словами:

— А ну-ка, перестань пылить...

Отец, бывало, рассмеется, подхватит меня на руки, и все облегченно вздохнут: гроза миновала. Мне он позволял даже то, что считалось никак уж не позволительным. Мои сестры часто вспоминали потом такой, например, случай. Понравилась мне зажженная перед образами лампадка желто-золотистого стекла, и я стал просить, чтобы ее сняли и дали мне поиграть.

— Что ты, деточка,— начала уговаривать меня мать.— Грех будет. Боженька рассердится. Это же дедова память.

— Хочу поиграть желтой дедовой памятью,— не сдавался я и заревел.

Отец подергал усами и спокойно снял лампадку, предварительно погасив ее, и подал мне:

— На, играй, только смотри не разбей.

Я схватил необычную игрушку и в ту же минуту уронил на пол. Лампадка разбилась вдребезги.

Мать онемела от ужаса, а отец, как будто ничего особенного не случилось, велел ей подобрать склянки, а сам взял меня на руки и стал рассказывать сказку о том, как «жил-был поп — толоконный лоб».

— Вот погодите, отрежет этот поп вам ухо на исповеди,— только и могла сказать мать.

Зимой отец иногда ездил в город продавать лен или пеньку. Возвращался он оттуда всегда с целым коробом гостинцев для всей семьи. О каждой такой поездке разговоров хватало на несколько недель. Я стал просить его взять в следующий раз и меня в город.

— Не могу, сынок,— ответил отец.— Там всех, кто в первый раз приезжает, у заставы целует рябая сопливая баба.

Быть поцелованным рябой да еще сопливой бабой мне, конечно, не хотелось, но желание повидать город пересилило отвращение к этой проклятой бабе, которая почему-то мне казалась похожей на жабу.

— Ну ничего,— решил я,— пусть себе поцелует. Я вытрусь, сплюну, и все пройдет.

— А не замерзнешь в дороге, домой не запросишься?

— Нет.

— Коли так — ладно. Вот провеем семя и поедем,— пообещал отец.

— Да ты что, с ума спятил! — взмолилась мать.— Или вправду заморозить ребенка хочешь?..

Но отец только хитро усмехнулся в усы и подмигнул мне. Через несколько дней он еще на зорьке разбудил меня и сказал, чтобы я собирался: поедем в город. Я наскоро обулся, напялив на себя лучшую рубаху, умылся и сел за стол, где уже лежали большими стопками гречневые блины и стояла сковорода с поджаренными шкварками.

— Ешь, ешь побольше. Наедайся на дорогу,— говорил отец.— До самого города останавливаться не будем. Вишь, какая погода разгулялась — свету белого не видно.

Я покосился на окно, за которым бушевала метель,

и взялся за новый пышный блин, хотя есть мне не хотелось.

— А может, мы лучше завтра поедем? — нерешительно спросил я, когда мы вышли на крыльцо, у которого уже стояла запряженная в сани игреняя кобыла, еле видная в седой мути пурги.

— Нет, я до завтра откладывать не могу,— ответил отец, запахивая армяк,— садись в задок да зарывайся получше в сено. Может, сопливая баба и не найдет тебя.

Сам он уселся в передке и взял вожжи.

— Ну, поехали.

Кобыла взяла с места мелкой, но спорой рысцой, и мы в одну минуту оказались за околицей деревни. Там, на просторе, пурга бесилась еще сильнее. Мы ехали против ветра. Кобыла сразу перешла на шаг и ступала, как слепая, на ощупь по заметенной дороге. Меня со всех сторон пронизывали ледяные иглы.

Не успели мы отъехать от деревни и полверсты, как я не выдержал и закричал:

— Не поеду в город, хочу домой.

Но отец не торопился поворачивать назад.

— Ты знаешь,— сказал он, обернувшись и наклоняясь ко мне,— сегодня у заставы, я думаю, сопливой бабы не будет. Другого такого случая не дождешься.

— Все равно не хочу ехать.

— Ну, смотри. Только больше уж не просись.

— Не буду проситься,— пообещал я, и мы повернули домой.

И только потом я узнал, что отец нарочно выбрал такую погоду и вез в противоположную от города сторону, против ветра, чтобы отучить меня от упрямства. Теперь я хорошо понимаю, что у моего отца, конечно, не было никакой сколько-нибудь продуманной системы воспитания детей. Все, что он делал в этом отношении, было продиктовано самыми простыми соображениями, соображениями здравого смысла. И тем сильнее было его влияние на меня. Между прочим, ему я обязан и рано проявившейся у меня любовью к стихам.

В нашей семье среди немногих других книг по счастливой случайности оказался и томик стихотворений А. В. Кольцова, полученный моей старшей сестрой при

окончании земской начальной школы «в награду за примерное поведение, прилежание и успехи».

К этому томику у нас все относились, как к семейной святыне. Отец отобрал его у сестры и хранил в своем сундуке.

По праздникам, особенно зимой, в долгие святочные вечера, когда к нам на посиделки собирались соседи и в избе вместо лучины зажигали керосиновую лампу, когда у веселого балагура Степана Братунька истощался весь запас его сказок про глупых бар и хитрых цыган, отец доставал из заветного сундука обернутую в синюю сахарную бумагу книжку и бережно раскрывал ее на застланном чистой скатертью столе.

— Ты не обижайся, Степан Иванович,— посмеиваясь в усы, говорил он,— но сказки — что салазки, они для детей придуманы. Послушайте-ка лучше песни, что про нас, мужиков, сложены...

— Песня сказке помешать не может,— пощипывая реденькую бороденку, отвечал Братунек.

— Читай, книгочей, не жалей очей...

Я и до сих пор помню эти чтения, ту торжественную тишину, которая водворялась в избе сразу, как только отец произносил первые слова «Раздумья поселянина»:

Сяду я за стол
Да подумаю,
Как на свете жить
Одинокому.

Затем шли по заведенному порядку «Песня пахаря», «Косарь», «Урожай»...

Вслушиваясь в ручьевое журчание певучей речи, я сидел не дыша, боясь пропустить хоть одно слово. Ведь все в них было такое близкое, родное, но вдруг, как бы озаренное небывало ярким светом, приобретало какой-то особый, возвышенный смысл. Мне самому хотелось поскорее стать пахарем, взять косу в руки, сказать: «Раззудись, плечо, размахнись, рука...» Так, еще не научившись грамоте, я уже заучил наизусть многие строфы и целые песни Кольцова, когда не слышал даже имен других прославленных поэтов.

МАТЬ

Женился отец по старинному крестьянскому обычаю очень рано, на восемнадцатом году. Невеста была на несколько лет старше его. К ней уже давно засылали свах и сватов женихи как из своей, так и из соседних деревень, но она, рискуя остаться в «перестарках», пойти, как у нас говорили, «под гречиху», всем отказывала, ждала отца. И дождалась.

Мне сейчас трудно сказать, была ли она когда-нибудь красива. Вероятно, даже в девичестве она не выделялась среди подруг особой красотой, но была в ней та складная ладность, которая всегда отличает простых, работящих женщин, не умеющих сидеть сложа руки. И когда теперь я вспоминаю ее чуть тронутое веснушками, уже немножко поблекшее лицо, ее золотистые волосы, меня всегда обдает каким-то теплым сиянием.

Я не помню ни одного случая, когда бы она не только наказала меня, а хотя бы хорошенько распекла, побранила. Если я чем-нибудь огорчал ее, она только ласково пеняла мне, а когда совсем расстраивал, плакала, да и то украдкой, чтобы не заметил отец. Пожаловаться же на меня отцу ей и в голову не приходило. Отец для нее был не просто муж, хозяин, а нечто большее, как бы воплощение всей ее жизненной судьбы. Она любила и оправдывала в нем все, даже его запальчивость, все эти «семь пятниц», но детей любила еще больше и всегда выгораживала нас перед ним. Во всем остальном она беспрекословно покорялась отцу. Стоило ему произнести только одно слово — «Агаша», как она уже угадывала все, что он хотел сказать. В его хозяйственные распоряжения она никогда не вмешивалась, а если он все-таки спрашивал по какому-нибудь поводу ее совета, отвечала одно и то же: делай, как лучше,— заранее уверенная, что он, конечно, уж знает сам, как будет лучше и как хуже, и плохого ничего не сделает.

В суровом крестьянском быту осуждались всякие показные проявления нежности между супругами, и я не знаю, умел ли отец полностью оценить воистину беззаветную преданность матери ему, детям и, наконец, всей семье или считал такую преданность как бы само

собой разумеющейся для каждой доброй жены, но, во всяком случае, я слышал не раз, как бабы-соседки, приходившие к нам в зимние сумерки толочь в ступе пряжу — основу для кросен, говорили матери, жалуясь на своих мужей:

— Тебе, Володимировна, хорошо. Твой Иван горяч-горяч, а небось вон как жалеет тебя. Ни разу перстом не тронул. Не то что наши идолы, будь они прокляты! Чуть что — за косу да об лавку. Хлеб не уродил, скотина пала — во всем мы виноваты, бабы, за все в ответе.

— А вы поменьше сварьтесь с ними,— советовала мать,— побольше молчите.

— Да как же молчать, когда никакого терпения не хватает?

— А так, как один знахарь учил бабку,— посмеиваясь, отвечала мать.— Дал ей пузырек наговоренной воды и говорит: «Как только дед начнет ругаться, возьми в рот глоток этой водицы и держи, пока он не замолчит». И что ж вы думаете? Помогло. Дед пошумит и, если бабка не сцепится с ним, обязательно перестанет. А если дед слово, а бабка ему десять — никакого ладу не будет... Мой покойный отец часто рассказывал, бывало, эту присказку. Я ее накрепко запомнила, бабоньки...

И в самом деле, мать умела, когда отец начинал пылить, вовремя набрать воды в рот, а при отходчивости отца это значило очень много.

— С тобой, Агаша, даже побраниться как следует нельзя,— говорил он в таких случаях.

— А ты, если у тебя свербит язык, почеши его об угол, об угол почеши,— вполголоса, так, чтобы не слышала мать, ворчала бабка Марья, когда отец выходил из избы.

Но тут уж я со всей детской горячностью вступался за отца:

— Ну что ты такое говоришь, бабушка? Языки об угол чешут только кони!

Как я ни любил мать, а все-таки отца ставил неизмеримо выше. Для меня он был самым умным, самым ловким, самым добрым и самым справедливым человеком во всей деревне, а значит, и во всем мире.

ДЯДЬКА ПАВЕЛ И ДЯДЯ ГРИША

Младшего своего сына, а моего дядьку Павлика бабка Марья даже при нас, детях, называла не иначе, как свистуном, а иногда и отпетым свистуном, хотя я замечал, что относилась она к нему с какой-то особой жалостливой нежностью и прощала ему многое такое, чего, наверно, никогда не простила бы моему отцу, которого она весьма уважала и, кажется, побаивалась.

После перенесенной еще в детстве оспы Павлик остался рябым и кривым. Но этого мало. Он сам ухитрился где-то сломать себе руку, а наша норовистая кобыла выбила ему несколько передних зубов. Словом, как говорил мой приятель Филька Прокопенок, лицо у него было такое, будто черти на нем горох молотили. И, однако же, Павлик вовсе не выглядел безобразным, по крайней мере на мой детский взгляд. Все его лицо светилось таким хитроватым добродушием, которое сразу располагало к нему самых разных людей. Незадолго до моего рождения он женился на одной из красивейших девушек в деревне — дочери нашего соседа и однофамильца овчинника Захара. Мой отец, как я потом не раз слышал, ничего хорошего от этой женитьбы не ждал, так как невеста не скрывала своего отвращения к жениху и шла за него только потому, что родители обрекли их друг другу еще грудными детьми, а перечить их воле Пелагея не решалась, хоть и росла девушкой своевольной. Но Павлику она прямо сказала:

— Ты, рябой кобель, на мою красу не зарься. Радости тебе от нее будет мало.

Павлик, вероятно, и сам чувствовал это, но выходить из отцовской воли и он не осмеливался.

— Что ж делать,— ответил он невесте.— Я, как и ты, вроде обреченной скотины, а обреченная скотина на дворе не животина.

Жизнь у них и в самом деле не удалась. Вскоре после свадьбы начались нелады. Молодка загуляла.

На первой же неделе великого поста Павлик отправился в приходское село Тюнино на исповедь. Выправил там в волостном правлении паспорт и, оставив у церковного сторожа Демы Косенкова лошадь, подался на станцию, а оттуда в Питер, где работал на заводе

наш односельчанин и родственник Арсений Ломаченков.

Исчезновение мужа, видимо, не на шутку перепугало Пелагею, и она поклялась моему отцу, который был ей вместо свекра, что, если Павлик вернется, она попросит у него прощения и будет ему верной женой. Отец был и сам немало обеспокоен случившимся, а в Питер как раз отправлялся брат Арсения, Алексей, женатый на моей тетке, и отец попросил его разыскать Павлика, уговорить вернуться домой. Впрочем, как оказалось, Павлика недолго пришлось уговаривать. На деньги, данные отцом, Алексей купил ему лаковые сапоги, венскую гармонику, и он вернулся к весенним работам в деревню.

Все это, конечно, я узнал потом, когда уже стал взрослым, узнал от старших друзей и соседей, а тогда видел в дядьке Павлике просто веселого неудачника, никогда не унывавшего свистуна, за нелепой внешностью которого угадывалась добрейшая душа.

На деревне ни одна вечеринка, а тем более ни одна свадьба не обходилась без него. Он везде и весьма охотно играл на своей привезенной из Питера «венке» «Барыню» и «Камаринского», не требуя за это никакого вознаграждения.

Работник он, несмотря на сломанную и стоявшую как-то крюком руку, был отличный, шел впереди всех не только на косьбе, но и на молотьбе. Но и тут дело не обходилось без чудачества и свиста. Прослышав про свадьбу в какой-нибудь соседней деревне, он мог в самую страдную пору, не сказав никому ни слова, бросить любую неотложную работу и потихоньку, захватив в клети гармонику и спрятав ее под полой, скрыться на несколько дней. К таким его исчезновениям в семье уже привыкли, и бабка Марья говорила, что Павлик опять «засвистал», пошел собакам сено косить. «Насвиставшись» вдоволь, он приходил не домой, а прямо в поле или на луга и принимался за работу не то что с удвоенным, а с удесятеренным старанием. Отец, зная его характер, никогда не упрекал его за отлучку, только посмеивался в усы да похваливал его работу.

Своему сыну, моему ровеснику Андрею, и мне он со

всех вечеринок и свадеб приносил одинаковые гостинцы — длинные конфеты-сосульки, завернутые в зеленую бумагу и с бахромой по концам. На досуге он мастерил нам одинаковые игрушки, строил с нами ветряные мельницы, и я очень сердился, если кто-нибудь при мне насмехался над ним. Но жену его я уже и тогда не любил, инстинктивно угадывая в ее холодной и какой-то недеревенской красоте, в ее кошачьей походке и всегда полуприкрытых ресницами серых глазах что-то отчужденное и недоброе. Впрочем, не любили ее, как я потом убедился, и собственные дети, которых она никогда не ласкала, даже не кормила грудью, а летом, чтобы они поменьше беспокоили ее по ночам своим криком, поила молоком, вскипяченным с зеленым маком. Вообще относилась к ним как к обузе, не скрывая этого и от них самих, так что старший из них, Андрей, нередко называл ее мачехой.

Но кто знает, что было бы, если бы она вышла замуж не по неволе, не по отцовскому зароку, а по любви, за того, кто пришелся по сердцу? Может статься, из нее вышла бы хорошая жена и мать. Во всяком случае, как я теперь понимаю, по задаткам, заложенным в ней, это была незаурядная натура, из породы тех простых русских женщин, которые даже в несчастье умели высоко нести голову и ни перед кем не опускать глаз.

В семье она чувствовала себя отчужденной. Это замечал не только я, но даже ее собственные сыновья. Может быть, эта отчужденность и была причиной того, что у нее вконец испортился характер. Она стала злой и скрытной, черствой до бессердечности. В присутствии моего отца она не решалась наказывать своих детей, но когда его не было дома, била их так, что я ревел вместе с ними и не раз бросался на нее с кулаками.

Тронуть меня она, конечно, не смела, но от ее взгляда у меня мурашки пробегали по коже. К счастью, большую часть свободного времени, особенно зимой, она проводила не в нашей семье, а у матери, которая жила по соседству, оставляя детей на попечение свекрови, чему та была несказанно рада, а дети тем более.

Иногда у нас появлялся кум бабки Марьи дядя Гриша — бритый, костистый старик лет за шестьдесят. Это

был родной племянник того самого Федора Семеновича Ломаченкова, который когда-то управлял графским имением. Про дядю Гришу рассказывали страшные, полулегендарные истории. Говорили, что, уличив жену в измене, он вогнал ее побоями в гроб, подростка-сына отдал куда-то в батраки, а сам, пропив все хозяйство и даже земельный надел, подался в уездный город Рославль, где по сих пор и босяковал, не имея даже постоянного угла, жил под обжоркой.

У нас он появлялся обычно зимой, в самые лютые холода, перед рождественскими праздниками. Ни с кем, кроме бабки Марьи, даже не поздоровавшись, он оставлял в избе свой фанерный, оклеенный чайными этикетками чемоданчик и отправлялся топить баню. Целый вечер парился и мылся один, на полном просторе, то и дело выбегая из предбанника, чтобы покататься по снегу. Отведя таким манером душу, дядя Гриша возвращался в избу, доставал из чемоданчика фунтик сахара да осьмушку чаю и подавал бабке Марье:

— На-ка вот, кума, побалуйся, а я пойду к Катерине. Там у нее спокойнее. А ведьмовства ее я не боюсь. Всех чертей сам напугать могу.

Мы, дети, и в самом деле верили, что он может напугать даже чертей, и очень боялись его. Но я однажды все-таки набрался храбрости заговорить с ним и спросил, что это за обжорка, под которой он живет в городе.

— Вот как-нибудь приедешь с отцом в город, я тебе покажу,— с тихой угрозой ответил дядя Гриша.

Но я не унимался:

— А что, босяки там всегда босые ходят, и летом и зимой? Так, дядя Гриша?

— Умишко, я вижу, у тебя еще босой,— уже совсем мрачно проворчал старик и, постукав пальцем по лбу, отвернулся в угол.

Я рассказал об этом Фильке Прокопенку, и тот даже засмеялся от удовольствия.

— А ты скажи-ка ему: «Дядя Гриша, дай медку!» — и посмотри, что будет.

Я поспешил исполнить совет приятеля. Вбежав запыхавшись в старую избу, я прямо с порога крикнул:

— Дядя Гриша, дай...

Тот, даже не дослушав, сорвался с места, где ковырял лапоть, схватил меня в охапку и, зажав между колен, начал своими костистыми кулаками салить мне щеки, приговаривая:

— Вот тебе мед, вот тебе мед. Что, сладко?

Я весь в слезах вернулся к Фильке, и тогда он, посмеиваясь, рассказал, что его дед Прокоп говорил, будто дядю Гришу когда-то поймали на чужой пасеке и так отдубасили, что он с тех пор не может спокойно слышать даже слово «мед».

Жил у нас дядя Гриша обычно несколько недель. Плел для всех наших женщин лапти, вил оборы, вожжи и возовые веревки, на что он был великий мастер. В семейную избу не заходил и по праздникам, как ни звали его бабка Марья и мой отец, в таких случаях даже называвший его Григорием Марковичем, как, наверно, давно уже никто не называл этого бездомного старика.

Все время дядя Гриша проводил у бабки Катерины, даже ел с ней из одной посуды.

Перед масленицей, когда морозы начинали сдавать и цыган, как говорила бабка Марья, продавал шубу, дядя Гриша исчезал, исчезал так же внезапно, как и появлялся, и тогда вдруг оказывалось, что он успел наплести лаптей и навить обор для женщин и для нас, детей, чуть ли не на целый год. А лапти были такие добротные, такие удобные, всем как раз по ноге, что мы потом не раз поминали дядю Гришу добрым словом. Сам же он до нового появления не подавал о себе никаких вестей. Если же кто-нибудь из ездивших в город односельчан встречал его там на базаре, он немедленно скрывался, не отвечая даже на приветствия.

Отец мой рассказывал, что, живя в работниках у рославльского лавочника-еврея, дядя Гриша во время какого-то погрома спас семью хозяина, один разогнал целую толпу пьяных громил. В благодарность за это хозяин предложил ему стать его компаньоном, но дядя Гриша не только отказался, а и бросил свое спокойное место у него, ушел под обжорку, даже не взяв никаких подарков, кроме пары белья.

И как бы трудно ему ни приходилось, он никогда не обращался за помощью к своему бывшему хозяину.

Правда, тот сам не упускал его из виду и время от времени подсылал к нему свою младшую и любимую дочку Саррочку, которой иногда удавалось уговорить дядю Гришу сменить обросшие коркой грязи отрепья на новенький люстриновый костюм. Впрочем, щеголял в этом костюме дядя Гриша недолго. Через два-три дня он спускал его на толкучке, чтобы не выделяться среди своих товарищей по обжорному ряду.

— Гордец, одно слово — гордец беспортошный! — с ласковой укоризной говорила бабка Марья.

В ИЗБЕ И В ПОЛЕ

Времена года у меня, как и у каждого деревенского мальчика, делились на две половины — между избой и полем. Причем в избе я вспоминаю себя только зимой, а с весны и до осени вижу всегда за деревенской околицей, в поле и на лугах.

Зима обычно начиналась с филипповского заговенья перед рождественским постом. До этого срока в деревне нанимали даже пастуха. Считалось, что после заговенья скот в поле ходить уже не может. Но, как правило, пастьбу скота пастух прекращал гораздо раньше, с наступлением заморозков. Тогда коров уже без пастуха выпускали на озимые, стравливали подросшую за погожие дни осени зелень, чтобы она под снегом не загнила.

В деревне били последних баранов, и в избах по утрам угарно пахло сырыми овчинами, требухой и жареными шкварками.

Но вот наступало заговенье. Все работы в поле и на гумне к этому времени уже кончались, дела переносились либо во двор, либо в избу. Мужики поправляли крыши, обставляли снопами щелястые стены варков, ладили к первопутку дровни, бабы трепали лен, пробовали прялки, а мы, дети, старательно мешали тем и другим.

Первый снег окончательно загонял нас под кровлю.

Когда наступали сумерки, бабка Марья вздувала из уголька в печурке огонь и зажигала лучину. Это было ее нерушимой привилегией, и она ее весьма ревниво

охраняла. Пока держался в печурке жар, тратить спички не полагалось. Это считалось непростительным мотовством. Я помню, что у нас всегда под потолком висела десятилинейная керосиновая лампа, но зажигали ее зимой только по большим праздникам, как и лампаду под образами, да иногда летом, если почему-либо поздно засиживались. В обычные дни жгли лучину, большие пуки которой всегда сушились на печке, возле трубы. Присматривала за светцом тоже бабка Марья.

В избе стоял какой-то дымно-желтый полумрак, монотонное жужжание прялок, сливавшееся с завыванием ветра за окном, нагоняло дремоту. Девушки, чтобы не заснуть за прялкой, ходили в бобыльские избы на супрядки, где сон от них отгоняли женихавшиеся парни, но старые, опытные пряхи могли вести нитку даже в полусне. Такой пряхой была и моя мать. Ее ровной и тонкой пряже дивились и завидовали все соседки. Если лен удавался хороший, за зиму она могла напрясть на четыре холстины, а это сто двадцать аршин небеленого полотна. Правда, к весне все ее пальцы были изрезаны суровой ниткой. Однажды, чтобы развлечь меня, она положила горящий уголек от лучины на обод колеса самопрялки, с внутренней стороны, и, когда колесо пошло под ее ловкой ногой, все убыстряя и убыстряя ход, перед моими глазами засверкал, завертелся сияющий, почти сказочной красоты огненный круг. Я завизжал от радости, и с тех пор мать вынуждена была каждый вечер устраивать мне этот своеобразный фейерверк. Скоро такое развлечение ей надоело, да оно и отвлекало ее от пряжи, и тогда она принялась сказывать мне сказки — все длинные-предлинные, и все про добрых волшебников. Про злых рассказывать на ночь опасалась: я после таких сказок плохо спал и не раз будил ее среди ночи. И только когда весь запас ее выдумок, ее фантазии истощался, она снова запускала огненное колесо.

Перед масленицей прясть кончали, начинали сновать пряжу, готовить кросна. Делалось это в сарае, где в одной из стен были набиты специальные колышки для разборки основы. Я любил смотреть, как старшая сестра бегала вдоль стены из одного угла в другой с держалкой для пряжи в руке.

А в воздухе уже начинало попахивать весной. Подтаивали на солнцепеке соломенные крыши. Под застрехами бормотали взахлеб капели. Появились длинные желтоватые сосульки, которые сами просились в рот. На потемневшей от навоза дороге ошалело трещали воробьи. В сарае, на сенной трухе, томно ворковали голуби, а за сараем, на задворках, в чернобыле и репейнике не умолкая звенели снегири, свистали щеглы.

По вечерам старшие ребята и девушки катались с горки за речкой на санках и козочках, но меня туда не пускали. Мы с двоюродным братом Андреем катали друг друга в салазках по дороге.

На масленице родители каждый день либо принимали гостей, либо сами ходили в гости, а мы оставались на попечении бабки Марьи, которая совсем не выпускала нас из избы, то и дело потчуя блинами с творогом. Но блины нас утешить не могли, нам хотелось на улицу. От скуки мы начинали драться, запускать друг в друга блинами, стараясь выпачкать один другому лицо творогом. Бабка Марья не могла управиться с нами и бежала за своей приятельницей — нашей соседкой Танькой Сорочкой.

А Сорочка знала верное средство, как прекратить нашу ссору. Она ловила нас, валила на пол и начинала щекотать. Мы смеялись до слез, до полного изнеможения, но, когда она, устав, прекращала щекотку, мы просили:

— Тетка Сорочка, ну пощекочи еще немножко! Ну одну капельку. Ладно, тетка Сорочка?

— Если будете звать меня Сорочкой, я в вашу сторону и глядеть не стану,— отвечала та притворно сердитым голосом.

— Хорошо, тетка Танька, только пощекочи еще...

Сразу после масленицы в избе принимались навивать кросна. Сначала на один стан — моя мать, потом и на второй — невестка. Бабка Марья уже давно не ткала холста и пряла только волну — грубую овечью шерсть на сукно для верхней одежды. Шерсть потоньше, для бабьих и девичьих нарядов, пряли мать с невесткой.

Весь пост проходил под стук деревянных набелок, закрепляющих берда, под мелькание челноков.

Это было самое скучное время. Ни петь песен, ни сказывать сказок не разрешалось. Кормила нас бабка Марья постными щами, картошкой в мундире да мурцовкой — тюрей с квасом. Только в день сорока мучеников, или, как у нас говорили, «на сóроки», выпекали из теста на постном масле жаворонков, которые нам казались необычайно вкусными. После этого пост ломался, и время шло быстрее. Прошли Авдоки — с гор потоки и Алексей — за рекой не ночуй.

Наступала распутица. Мужики теперь уже не ездили в лес, а с утра до вечера пилили и кололи под навесом заготовленные за зиму дрова для избы и овинов, складывая их в высокие поленницы, так вкусно пахнувшие оттаявшим деревом.

С благовещенья девушкам уже разрешалось запевать веснянки, и по вечерам на околице все звонче и звонче раздавались их голоса:

Что, подружка, задумалась,
Полно сидеть в хате,
Пора идти на улицу
Весну закликати.

Покрылась бледно-желтым, гусиным пухом верба. В вербную субботу ее ломали, хлестали гибкими прутьями отощавший за зиму скот, чтобы отогнать хворобу. Но настоящая весна для меня наступала только после того, как отец надрубал стоявшую за двором березу и в избе появлялась дежа с березовиком. Потом, когда уже спадало половодье, вывозили пчел на пасеку.

У отца было всего несколько ульев-колод, и устраивать самостоятельную пасеку в лесу, где пчел приходилось караулить, не имело смысла. Поэтому он ставил свои ульи на пасеку нашего дальнего родственника Афиногена, жившего в соседней деревне Плетневке, в двух верстах от нас, и имевшего постоянную, огороженную частоколом и всячески благоустроенную пасеку в граничившей с их полями лесной даче.

Я любил летом бывать на этой пасеке, любил сидеть в шалаше, покрытом сухой еловой корой, слушать тонкий звон пчел, дышать запахом вощины, пить медовый взвар, а больше всего любил самого Афиногена — вы-

сокого, чуть сутулого, немногословного и удивительно складного старика, открывавшего ульи без дымаря и даже без сетки.

Угощая нас свежим медом, он приговаривал: «Все в свой час умрем, и с собой на тот свет ничего не возьмем, а что на этом свете съедим да выпьем, того из нас и царь коленками не выдавит. Вот так мы и живем. В поте лица хлеб едим да голодные не сидим».

Старшие сыновья Афиногена — Евдоким и Ефим жили с женами в Екатеринославе, работали там на каком-то заводе. Дома по хозяйству управлялся младший Афиногенович — Мишка, тоже уже женатый. Но летом, перед страдой, каждый год обязательно приезжали домой и Евдоким с Ефимом. Я хорошо помню их. Евдоким был низкий, коренастый, с хитрыми глазами и захлебывающейся скороговоркой. Ефим больше походил на отца. Высокий, с пристальным взглядом больших добрых глаз и медленным, певучим голосом. Ходили они оба в ситцевых косоворотках и жилетках. Мне всегда они привозили какие-нибудь городские подарки — то картуз, то поясок, а то просто жестяные коробочки от конфет или чая с портретами царей и полководцев.

Перед спасовым днем отец запрягал игренюю кобылу, ставил в телегу большую липовую кадушку и говорил мне:

— Ну, собирайся, поедем в Плетневку, в гости к деду Афиногену.

— А почему это их деревню зовут Плетневкой? — спрашивал я, стараясь сделать вид, что совершенно равнодушен к предстоящей поездке, хотя сам уже давно ждал ее.

Отец это хорошо понимает, и все-таки в который уже раз объясняет:

— Плетневка она потому, что все в ней переплелось, как в плетне,— избы, дворы, сараи, амбары, пуни. Никакого порядка нет.

И в самом деле, я уже обратил внимание, что в Плетневке не было ни одной правильной улицы, избы стояли и вкривь и вкось, почти стреха к стрехе с другими строениями. Объяснялось это страшным малоземельем. Наделы у них были в два раза меньше, чем

у нас. Меньше, конечно, были и усадьбы, поэтому и лепились они кое-как, один двор к другому. И естественно, что пожары там случались чаще, чем в других деревнях. На моей памяти Плетневка выгорала несколько раз. Не горел только Афиноген, вероятно, потому, что он жил немножко на отшибе и двор его был обсажен деревьями.

В Плетневку мы заезжали только на минутку и сразу отправлялись на пасеку. К этому времени пчелы после роения уже заполняли медом все соты, и если опоздать его вынуть, то они не успеют за оставшиеся погожие дни накопить достаточно запаса на зиму, объяснял мне отец.

Мне навсегда запомнилась мягкая, заросшая травой дорога среди созревающих и ждущих уборки хлебов и какая-то особая, праздничная тишина лугов и перелесков.

Возвращались мы в сумерках. Торжественно снимали с телеги, наполненной свежей травой, кадушку с медом и несли в горницу — новую избу, а вечером пили всей семьей чай с сотами, выплевывая в горсть воск и чуть ли не за каждым словом вспоминая Афиногена.

Потом, когда Афиноген умер, отец стал вывозить пчел на пасеку к другому своему родственнику — леснику Афанасию Васильевичу, сторожка которого стояла на опушке леса, у обочины тюнинского большака, сразу за речкой Корчевкой, отделявшей наши поля от казенной дачи. Там я бывал чаще, чем у Афиногена, хотя Афанасий Васильевич держался строже, чем тот, носил очки и всегда ходил с ружьем, что внушало мне невольное почтение и даже страх. Правда, я никогда не видел его с дичью, которой в лесу водилось видимо-невидимо.

Вместе с его внуками я исходил все лесные тропинки, облазил все овраги и не раз, ночуя в сторожке, слушал таинственную музыку леса, которая живет в моей душе и до сих пор.

Но пасеки, та и другая, находились все-таки на отлете, и поездки туда были праздниками, а будни проходили в поле и на лугах.

Итак, ульи вывезены в лес, и можно спокойно начинать пахать огород. Пчелы не помешают. В то время

в деревне еще держались матушки-сошки. Старики считали, что по нашим местам плуг не годится. «Если пахать плугом — земля станет лугом»,— говорили они. Но мой отец предпочитал все же плуг. Соха у нас сохранялась только для пропашки картофеля. Землю под гряды для овощей хозяйки всегда вскапывали лопатами, а под коноплю отец пахал сам. Здесь земля особенно тщательно обрабатывалась и обязательно троилась. В поле отец только начинал вспашку, проходил первую борозду и указывал очередность полос. Пахал в очередь с моими сестрами дядька Павлик, но зато сеять отец не доверял никому. У каждого хозяина были свои приметы, которые держались в тайне, когда, в какую погоду и даже в какое время дня лучше всего начинать сев. Отец смеялся над той таинственностью, какой окружали свой выход в поле старики соседи, и говорил, что весна сама укажет, когда что делать. Закуковала кукушка — сей ячмень, вошла в круг тень у покрывшейся листвой березы — готовь овес. А появились божьи коровки — значит, и гречиху сеять пора. Гречиху вообще сеяли после всего и на самых тощих полосах. Недаром про девушек, которые запаздывали выйти замуж, говорили, что их оставляют «под гречиху».

Еще совсем маленького отец брал меня с собой на засевки. Выезжал он всегда рано утром, чтобы до завтрака засеять две-три полосы. Сеял отец быстро, уверенно, большими горстями разбрасывая зерно в лад своему крупному шагу. Я таким и запомнил его на всю жизнь — идущим с обнаженной головой и с севалкой на груди вдоль нивы, окруженным золотистым сиянием разбрасываемого зерна. Как я уже говорил, в одном из полей земля нашей деревни граничила с плетневской землей. Для удобства выпаса скота граничащие поля соседи обычно «подклинивали», то есть старались, чтобы оба клина занимали в севообороте одно и то же место. Там, на межинке, во время полевых работ сходилась молодежь из двух деревень, там же встречались и мужики. Однажды, когда отец, засеяв полосу, присел покурить, к нам, попыхивая трубочкой, подошел невысокий лысоватый старичок с черной бородкой и ласковым голосом. Потрепав по шее нашу игренюю, сказал:

— Хорошая матка.

А заметив, что отец нахмурился от его похвалы, он усмехнулся:

— Да ты не беспокойся, Иван Федорович. Коней я не ворую!

— Так это ж и не конь, а кобыла,— тоже усмехнувшись, ответил отец.

— Все равно не ворую. Уворовать у хозяина коня — это то же, что избу сжечь,— большой грех. Такого греха я на душу не беру,— пояснил ласковый старичок.

— А что же ты воруешь? — спросил отец.

— А ворую я, что надо для живота, хлеб, скажем, сало. Вот так-то, милый человек... Ох-хо-хо...

И, присев на грядку телеги, вдруг начал рассказ, как однажды ездил в раздобытки в деревню Болваны, что возле станции Сещинской, верст за тридцать от нас. Отвозил сына на чугунку и приметил по пути в этой деревне богатый двор, где можно было поживиться. Дело случилось как раз перед рождеством, нужно было запастись чем разговеться, а дома — запали, не треснет. Ради такого случая и воровство бог простит.

Рассказывал он неторопливо, обстоятельно — как собрался и поехал, как пробрался во двор, как снял замок на амбаре, даже как назавтра приезжали к нему с обыском и, конечно, ничего не нашли.

— Пришлось хозяину прощенья просить у меня за напрасное беспокойство. А я отвечаю: «Что ж, пропал мех, и на батьку грех. Разве за это можно обижаться. Садитесь-ка лучше завтракать...» И угостил хозяина его же салом.

— Что это он, сказку рассказывал? — спросил я у отца, когда старичок ушел.

— Нет, правду, сынок,— отвечал отец.— Это самый знаменитый вор во всей округе — Романок. Он всегда рассказывает о своих старых кражах, за которые, по давности лет, его уже судить не будут. О новых небось не расскажет. Все, говорит, бросил воровать. Занятный старик. Зайди к нему в ночь, в полночь — последний кусок разделит, как говорится, накормит, напоит и спать уложит, а назавтра может со спокойной совестью обворовать.

Подтянув у игреней чересседельник и поправив хомут, отец уселся в телегу и тронул вожжи.

Словно отвечая каким-то своим мыслям, сказал:

— Скверно у нас народ живет. От тесноты да от бедности люди готовы не то что обворовать, а и съесть друг друга. А дальше, наверно, и еще хуже будет, ежели не переменится ничего. Вот подрастешь, окончишь земскую школу, отдам я тебя в Тюнино, в высшее начальное училище. Авось и сам учителем станешь, вырвешься из этой тесноты да темноты.

Вечером того же дня я рассказывал всем своим приятелям, что, когда подрасту, непременно стану учителем, но меня тут же подняли на смех. Где это видано, чтобы деревенские ребята становились учителями? Кто таких учителей слушаться будет? Слушаются только бар да чиновников.

Это несколько смутило и озадачило меня. И хотя я был склонен больше верить отцу, чем всем своим приятелям, но о будущем учении своем в Тюнине речи на улице уже не заводил с тех пор ни разу.

А работы в поле шли своим чередом.

В деревне оставались только бабы, которые смотрели за огородами и колотили на речке, белили холсты — самое главное, если не единственное приданое для подрастающих дочерей-невест. На нем держался почти весь деревенский домашний обиход.

Из тонкого холста шили праздничные рубашки — мужские и женские, делали расшитые рушники и скатерти-настольники. Рядно шло на верхнюю одежду и онучи, а посконина — на дерюги и мешки. Всего этого матери должны были в избытке накопить для своих дочерей, чтобы, выйдя замуж, им не стыдно было явиться в мужнюю семью.

Свекровь тщательно проверяла сундуки новой невестки, смотрела, как выткан холст, как выбелен.

Поэтому бабы, у которых дочери были уже на выданье, колотили холсты с особым старанием, чтобы не опозорить дочерей. Сами невесты холстов не белили. Последние вёсны они отрабатывали отцу в поле — пахали, бороновали и только в полдни помогали матерям.

Но вот уже и весна на исходе... Все холсты выбелены и уложены в сундуки и кублы. Бабы начинают по-

говаривать, что пора стричь овец, чтобы они успели как следует обрасти до осени, когда их стригут снова.

День стрижки выбирает бабка Марья, которая советуется об этом со старой бабкой Катериной. Они, наверно, все давно обговорили, но пока молчат, считая, что преждевременные разговоры могут испортить руно.

Отец в бабьи распорядки не вмешивается. Его дело наточить большие пружинные, специально овечьи ножницы, а они у него готовы, лежат в амбаре, завернутые в лоскуты от старой овчинной шубы.

Наконец в один из вечеров бабка Марья велит принести несколько ушатов воды, и все сразу догадываются: завтра мыть овец. Я заранее упрашиваю мать не прогонять меня со двора: уж очень интересно посмотреть, как будут вести себя овцы, когда им устроят баню.

— Ладно,— соглашается мать,— только не вертись под руками.

Мыли овец обычно в полдень. В овчарнике настилали свежей соломы, а посреди двора ставили большой чан с подогретой водой. Овец из овчарни выносили отец с дядькой Павликом. Они же и держали их, зажав между ног, возле чана. Перепуганные овцы даже не блеяли, когда их окатывали теплой водой и упругие руки начинали тереть и выжимать руно. Они только недоуменно оглядывались по сторонам да беспомощно болтали коротенькими хвостиками. Вероятно, отсюда и пошла насмешливая деревенская пословица о слабодушных людях, что у них сердце бьется, как овечий хвост.

Стригли овец на следующий день и тоже в полдень, но уже не во дворе, а в сенях, куда для этого выносили из жилой избы все скамьи.

Перед стрижкой овцам связывали ноги, но я никогда не видел, чтобы они бились в опытных женских руках. Выпущенные после стрижки во двор, овцы тут же сбивались в кучу и блеяли необычайно жалостно. Без руна они казались совсем маленькими и очень пестрыми от оставленных на шкуре ножницами полос. В их острых мордочках мне виделось что-то почти человеческое.

Из всех домашних животных я вообще почему-то

больше всего любил и жалел именно овец. Может быть, за их полную беззащитность. Я никогда не мог без ужаса видеть, как убивают баранов, как сдирают с них, подвесив за задние ноги к потолку, шкуру. Вот мытье и стрижка — другое дело.

Шерсть весеннего настрига у нас называли вешницей, в отличие от осенней — битницы. Но был еще и третий вид шерсти — поярок, как называли руно молодых, зимнего окота овец, ярок.

Я очень любил эти слова — ярка, ярочка, поярок.

Вообще слова крестьянского обихода мне всегда казались удивительно точными и емкими. У нас женщины никогда не говорили: овечья шерсть. Для нее у них было особое, очень мягкое слово: вóлна. Лучшую вóлну отдавали девушкам-невестам.

А мужские работы шли своим чередом.

Не успевали отсеяться, как наступала навозница, а там и сенокос. Тут я дома уже почти и не ночевал. Был все время с отцом на лугах, сторожил стан, присматривал за лошадью, чистил к обеду и ужину картошку, собирал ягоды и главное — огребал шмелей.

Шмелей на наших мшистых лугах водилось очень много, и нам, ребятишкам, во что бы то ни стало хотелось приручить их, заставить, так же как пчел, жить в ульях и собирать для нас мед. А мед шмелиный нам почему-то особенно нравился. Правда, он не такой душистый, как пчелиный, но зато и не такой густой, и его можно тянуть из чашечек через соломинку. Конечно, в каждой чашечке и меду-то всего одна капля, но зато какая капля!

Отец отмечал березовой веточкой каждое найденное при покосе шмелиное гнездо, и вечером, когда вся семья слетится, я с серьезностью заправского пчеловода огребал их, сажал в заранее приготовленные из осиновой коры игрушечные ульи, а чтобы они не разлетались, затыкал леток мхом. Домой возвращался с целой пасекой — привозил ульев десять — пятнадцать. Устанавливал их точно так же, как ставят пчелиные ульи-колоды, на грядках огорода и бежал похвалиться своей удачей приятелям.

Но у соседа нашего Фильки пасека всегда оказывалась больше, чем у меня, причем у него были не только

моховые, но и земляные шмели, которые всегда гораздо сильнее и богаче медом.

Это очень огорчало меня, но задаваться ему передо мной приходилось недолго. Через день-два все шмели как у меня, так и у него разлетались из ульев и мы никак не могли понять — почему.

— Наверно, осиновые ульи им не нравятся. В будущем году будем делать липовые,— догадывался Филька, который решительно все знал и был докой во всех делах.

Порешив так, мы убирали с грядок опустевшие, ссохшиеся под июльским солнцем ульи и забывали о шмелях до нового сенокоса. Да и некогда было вспоминать о них. С лугов каждый день привозили свежее, пахнущее медом сено, которое по утрам разбрасывалось для досушки на площадке перед сараем и в котором так весело было нам кувыркаться.

Вечером сено укладывали в сарай, и мы целой оравой утаптывали его, стараясь забросать друг друга большими охапками. Сено набивается под рубашку, попадает в штанишки, пахучая пыль щекочет в носу, мы беспрерывно чихаем, но из сарая уходить не хотим даже после того, как все сено прибрано.

Ужинают теперь уже в сумерках, при свете лампы, но нам кажется, что еще рано, хочется еще немножко побыть на улице, поиграть в прятки.

Но вот все луга уже убраны. Отец начинает чистить на гумне ток, осматривает и протапливает овин, а мать с невесткой отправляются в соседнюю деревню, в кузницу, зубить серпы. Приближается бабья страда — жатва.

Зажинки — день торжественный, почти праздник. Бабы наряжаются, как в церковь к обедне, надевают новые, с расшитыми рукавами и подолами рубашки, цветные сарафаны. В поле сарафаны сбрасываются. Жнут в одних рубашках, подпоясанных сплетенными из крашеной шерстяной пряжи поясками, покромками. В первый день возвращаются рано, веселые, возбужденные, с большим пуком колосьев — пряжмом, которое устанавливается на божнице — перед образом спасителя. Вечером за ужином долго и оживленно рассуждают об урожае — на какой полоске рожь уда-

лась, на какой вышла редкой. Но утром сестер приходится уже будить. Они встают с трудом. Жалуются, что болят руки, ноет поясница, зудят исколотые жнивьем ноги.

Я любил носить с бабушкой на жниво обед: горячие щи из свежей капусты с бараниной и молоко в глиняных глазурованных двойчатках, квас в таких же глиняных горлачах либо деревянных бочонках.

Но больше всего мне нравилось возить с отцом с поля на гумно снопы, укладывать их под крышу, а вечером сидеть перед печкой в подовине, где так вкусно пахнет свежим, подсыхающим зерном и соломой. Когда начиналась молотьба, я вставал вместе со старшими до первых петухов и ни за что не соглашался оставаться дома, с бабкой Марьей, шел на гумно и, пока старшие управлялись на току, дремал в овине. Первый умолот обычно шел на семена. Сеять озимые начинали с успенья, когда в поле уже оставалась только одна картошка.

Так лето незаметно переходило в осень. На огородах густо пахло коноплями. Все тропинки вокруг гумна были запорошены мякиной. Серым налетом лежала гуменная пыль на лопухах.

Зори становились все ядренее, и мать, собирая меня на гумно, уже накидывала мне на плечи шубенку. И вдруг однажды, возвращаясь с гумна, отец замечал:

— Смотри-ка, совсем покраснела рябина! Время перевозить пчел с пасеки...

ДАРУСИНЫ ЗАГАДКИ

У старой нашей бабки Катерины было две дочери — Дарья и Акулина. Акулину я в детстве видел редко, она жила в той самой Самозвановке, где когда-то бабы спрятали уворованные Сорокой у Федора Семеновича Ломаченкова деньги, а мужики купили миром на эти деньги землю у своего барина Мясоедова. Муж Акулины, Карпуша, выделился из деревни на хутор и, как говорил мой отец, корпел на пустой запольной земле. Его у нас так и звали — Карпей.

Дарья же была выдана замуж в свою деревню и жила рядом с нами. Муж ее, Афанасий Васильевич, служил много лет лесником в казенной даче и почти все время находился в лесу. Дома появлялся только перед большими праздниками: помыться в бане и сменить рубаху. Немудреное хозяйство вел старший сын его Осип. Весной, как только в лесу закукует кукушка, Дарья переселялась к мужу в его сторожку и возвращалась в деревню только поздней осенью.

Когда она появлялась у нас, бабка Марья спрашивала:

— Ну что, небось соскучилась по людям, лешачиха?

— А и вправду соскучилась,— отвечала та.— Летом в лесу всегда человеческий голос услышишь: то бабы по ягоды да по грибы придут, то мужики на покос приедут. А теперь там только совы вопят да волки воют. Леший и тот в дупло спрятался. Спит до весны.

Была она одних лет с нашей бабкой Марьей, но все у нас звали ее почему-то, как молоденькую, Дарусей: тетка Даруся, бабка Даруся.

Ростом высокая, чуть сутуловатая, она, несмотря на свой возраст, двигалась удивительно легко. Ее крупное лицо могло бы показаться сердитым, если бы не большие ласковые глаза. Но еще более ласковыми мне казались ее руки. Так и хотелось подставить им голову, чтобы она погладила, ероша волосы.

Зимой Даруся заходила к нам почти ежедневно и всегда в то чудесное предвечернее время, когда в избах еще не зажигают огня, сумерничают. Каждый раз она непременно приносила для нас какой-нибудь гостинец: то яблоки, которые у нее хранились где-то в мякине и необыкновенно вкусно пахли, то какого-то особого засола грибы, то орехи, но чаще всего гороховые лепешки с медом, нарезанные в виде пряников. Заслышав ее глуховатый голос, мы с Андреем кубарем скатывались с полатей.

— Бабка Даруся, что ты нам принесла?

— Не скажу,— отвечала та, пряча под полу деревянную чашку, и проходила прямо в передний угол.

— Бесстыдники,— ворчала бабка Марья.— Срамники. Не успел человек лба перекрестить, а они уж за полу хватают. Подавай им гостинцы! Что вы, целый день на печке голодные сидите, что ли?

— Ну, еще чего выдумаешь. Голодного гостинцем не накормишь,— отвечала Даруся, сажая нас к себе на колени.— Я вот им буду загадывать загадки. Кто первый отгадает загадку — тот первый и гостинец получит. Ну, согласны?

— Согласны, согласны,— наперебой отвечали мы.

Загадок она знала великое множество и каждый раз загадывала новые. Правда, загадки у нее были не очень хитрые, и все какие-то домашние, о том, что окружало нас в избе и на огороде. А я успел уже выспросить у бабки Марьи, у отца и матери отгадки на все известные им загадки, хотя они не знали и сотой доли того, что знала Даруся. Мне даже казалось, что загадки для нас она придумывает сама, но придумывает очень интересно, словно раскрывая душу окружающих нас вещей. Впрочем, первые загадки она всегда выбирает попроще, чтобы долго не мучить нас:

Основа
Соснова,
Уток соломенный,—

произносит она скороговоркой, запрокидывая голову к потолку.

— Крыша,— в один голос отвечаем мы.

— Молодцы. Вот вам по лепешке. Теперь отгадайте другую:

Мать грузна,
Дочь красна,
Сын храбер,
В небеса попер.

— Это печка, когда она топится,— спешу я опередить Андрея.

— Так, правильно. Получишь, когда съеди́шь эту, вторую лепешку.

Чтобы не обидеть Андрея, который всегда думает медленно, она загадывает опять попроще загадку:

Красный кочеток
По жердочке скачет.

— Лучина горит,— догадывается Андрей.

— И в самом деле, пора уж и лучину засветить,— спохватывается бабка Марья и, гремя заслонкой, достает из печи пучок лучины, берет из печурки уголек и вздувает огонь. Это значит, что бабам пора садиться за прялки.

Но бабка Даруся не торопится уходить. Она еще не все лепешки отдала нам. Последняя ее загадка всегда самая мудреная. Попробуй-ка отгадать, что это такое:

Был я на копанце,
Был я на хлопанце,
Был на пожаре,
Был на базаре.
Молод был —
Людей кормил,
Стар стал —
Пеленаться стал.
Умер — мои кости
Не зарыли на погосте.
Бросили в яму,
А их и собаки не гложут.

Мы долго думаем, что бы это такое могло быть, но ничего не можем придумать. Бабка Даруся несколько раз повторяет свою загадку, устремив глаза в чело печки, но мы никак не можем догадаться, что тут к чему.

— Эх вы, несмышленыши! Да это ж горшок, тот самый горшок, из которого вам бабка щей наливает.

Изредка вместе с бабкой Дарусей заходил и сам Афанасий Васильевич, весь заиндевелый, пропахший лесным хвойным духом. К его приходу у нас всегда ставили самовар. За чаем он сначала разговаривал только с отцом, но постепенно оттаивал и уж тогда замечал нас, детей.

— Ну как, растете?

— Растем,— обрадованно подтверждали мы.

— И загадки бабки Даруси отгадываете?

— Отгадываем.

— Ну, тогда отгадайте и мою.

Загадывал он каждый раз одну и ту же загадку, и мы знали ее наизусть, но делали вид, что совсем-совсем забыли и слушали, как в первый раз.

— Ну так вот,— произносил он своим строгим голосом, и густые черные брови его сходились у переносья:

Жил-был на свете мужик Батура,
Была у него дурацкая натура.
Он молока не ел,
А почему не ел?

— Потому не ел, что коровы не имел,— подхватывали мы на лету.

— Верно. Что верно, то верно. Именно потому и не ел, что коровы не имел,— обращался он уже не к нам, а к отцу.— Эту загадку теперь и дети отгадывают. А почему он коровы не имел, вот где загвоздка. Но это уже загадка не для детей...

— А что ж, и впрямь не для детей,— встревала бабка Даруся.— Мои загадки куда интересней для них:

Стоит поп низок,
На нем сто ризок.

Тут сколько ни думай, дальше капустного кочана на огороде не уйдешь. А с твоими можно заблудиться, как в темном лесу. Вы его не слушайте, дети. Ему зимой в сторожке не с кем поговорить, вот и лезут в голову разные мысли.

Мы молчали, не желая обидеть никого из них. Но мне почему-то вспоминалась наша соседка Танька Сорочка. У нее тоже не было коровы. А я так дружил с ее дочками. Только какая ж тут загадка. Нечем кормить, вот и все. Так сама Сорочка и говорит.

Нет, в самом деле загадки бабки Даруси куда интереснее. От них всегда пахнет домашним теплом и гороховыми лепешками с медом.

КРЯМЧУК

Неподалеку от нашего двора, на противоположной стороне улицы, жил и другой наш родич — брат моей матери Алексей Владимирович, по прозвищу Крямчук. Свою «связь» — две избы с сенями — он построил не так, как строили все в деревне, фасадом не на улицу, а на проезд к задворкам, но зато все окна у него были на полдень и только одно окно в жилой половине смотрело на запад.

Тихий, тщедушный мужичонка, без времени постаревший и вечно мучимый одышкой, отец семерых детей, он был, что называется, мастер на все руки, уж доподлинно и швец и жнец, только не в дуду игрец. На дуду у него просто не хватало времени. Все, что необходимо в хозяйстве и в домашнем обиходе, он делал своими руками. Потекла капустная бочка — он становился бондарем, понадобился для дочери сундук — он брался за столярный инструмент. Сам валял валенки, сам шил штаны ребятам. Пробовал даже выделывать кожи, не только сыромятные — на хомуты, но и на черный товар. Правда, черный товар у него получался коричневым, даже рыжим, пошитые из него сапоги пропускали воду, но он этим не смущался.

Основное же свое ремесло — кузнечное дело — он знал вполне прилично. Мог не только загнуть кочережку или ухват, сделать чепелу или ножик, но и оковать колеса, насталить топор, наварить и поострить спахавшиеся лемеха у сохи и плуга, отпустить и заклепать косу, подковать лошадь. Словом, в деревне дядька Крямчук был самым незаменимым человеком.

Возле его кузни, которая стояла на отлете, за деревенскими банями, над самой речкой, всегда толпился народ. Особенно завозно бывало весной, перед началом полевых работ. Вместе с его сыновьями — моими братенниками — я в эту пору по целым дням вертелся у него под руками. Мне нравилось смотреть, как мужики-заказчики качают рычаг меха, раздувая в горне огонь, как накаляется в горящих угольях железо, меняя все цвета радуги, слушать заливистый звон молотка по наковальне, вдыхать щекочущий запах окалины, но всего интереснее было прислушиваться к разговору

заказчиков, которые, перебирая происшествия, обсуждая новости, не скупились на ядреное, забористое словцо, тут же, на лету подхватываемое нами.

— Ой, прижгу я горячими клещами вам языки,— грозился в таких случаях дядька Крямчук, вытирая замасленным фартуком пот со лба.— Право слово, прижгу...

А мы, делая вид, что испугались, выбегали из кузницы и, высовывая языки, кричали:

— А вот и не прижгешь, а вот и не прижгешь! А если и прижгешь, так и пшик скуешь!

Заказы моего отца дядька Крямчук по-свойски выполнял только в свободное время, когда не было других заказчиков, оправдываясь тем, что чужие ждать не станут, а свой может и повременить. Отец, конечно, сердился, грозился, что в следующий раз уж обязательно поедет в соседнюю деревню, где кузнец у него приятель и все, что хочешь, сделает без очереди, но на дядьку Крямчука это нисколько не действовало. Он хорошо знал, что все равно отец не объедет его кузню, что ни один кузнец не может угодить ему так, как он, Крямчук.

По воскресеньям, не говоря уже о годовых праздниках, какая бы срочная работа ни ждала хозяина, кузенка никогда не открывалась. Выпив за завтраком чекушку водки, Крямчук собирал вокруг себя всех детей и запевал какую-нибудь жалобную песню. Но петь детям скоро надоедало, и они поднимали возню, зная, что сейчас отец им все простит.

Жена его, Акулина, не в пример мужу — толстая, рыжая женщина, только руками разводила:

— Боже мой, совсем вы меня замучили, высушили в ореховую шелушку. Хоть бы когда-нибудь ты, Лексей, навел в семье ряд.

— Ну вот, ряд,— пощипывая бородку, усмехался Крямчук.— Ряд ей, видишь ты, нужен. А того, глупая, и не знает, что по ряду вши ползают.

Это уж совсем выводило Акулину из себя, и она начинала причитать:

— Господи, у всех мужья как мужья, а у меня одно горе-несчастье. И за что мне только такое наказание...

— А за то, что ты не Акулина, а куль. Куль соло-

мы, да и то не ржаной, а гречишной,— отвечал Крямчук и, не слушая больше причитаний жены, уходил из избы и, задыхаясь, шел к нам.

— Ну, что, небось опять куль? — встречал его отец.

— Куль, братец ты мой, куль,— уже хрипел Крямчук.

— Это тебе за то, что ты сам ребятишкам штаны шьешь. Если девкам станешь юбки шить, так и еще хуже будет,— подшучивал отец и доставал графинчик с перцовкой. Но не успевали они закусить после первой рюмки, чтобы налить по второй, как появлялась вся красная, с заплаканными глазами Акулина.

— Ты что ж это,— набрасывалась она на отца,— детей моих осиротить хочешь, спаиваешь эту хворобу! Добрые люди и в воскресенье себе дело находят, а он, вишь ты, в гости поплелся... — И уже совсем грозно обращалась к мужу: — Ну, кому я говорю! Сейчас же ступай домой!

Крямчук смущенно улыбался, втягивал голову в плечи и покорно плелся за женой, повторяя заплетающимся языком:

— Акуль, а Акуль, когда же ты растрясешь свой куль?

А назавтра, чуть только ободняло, он уже был в своей кузенке, куда его Акулина почти никогда не заходила и где он чувствовал себя полным хозяином.

Кузнечное ремесло Крямчук ставил выше всех других ремесел, считал, что без кузнеца ни один человек в мире обойтись не может, но не очень огорчался, что из сыновей его никто кузнецом стать не собирался, хотя в детстве все они понемногу помогали отцу.

— Куда им! — говорил он.— Я не такой, как они, смолоду был, а и то сгорел, стоя у горна, без времени. Железо ковать — век покоя не знать...

Соседи беззлобно подсмеивались над ним, но, когда он умер, не раз пожалели, что кузенка его стоит на замке. Со всяким пустяком приходилось идти в соседнюю деревню. Значит, правду говорил покойный, что без кузнеца нет ни пахаря, ни жнеца.

ОХОТНИКИ

Несмотря на то что деревня наша стояла почти у самой опушки леса, где в избытке водилась всяческая дичь, начиная с белок и зайцев, кончая рысями и медведями, охотой у нас мужики не промышляли, считали ее пустым, не крестьянским делом, барским времяпрепровождением и даже в устраивавшихся иногда городскими охотниками облавах на волков, изрядно опустошавших стада, принимали участие только в качестве крикунов и загонщиков. Одним из немногих охотников в деревне был Артем Гнутый. Жил он вдвоем с женой, хозяйства никакого не водил, а надел свой земельный сдавал в аренду. Жену себе он привез из города Рославля, где в молодости работал. Она шила деревенским модницам по всему околотку платья и сарафаны на городской фасон, вязала кружева для скатертей и этим кормила и себя и мужа, который и зиму и лето бродил с ружьем по лесу.

В избе у них, начиная с первого дня святок и кончая последним днем масленой недели, каждый вечер собиралась на посиделки молодежь, за что парни привозили хозяевам по возу дров, а девки приносили по мерке картошки.

Я на этих посиделках никогда не бывал, дети туда не допускались, но видел Артема почти каждый день, так как, направляясь в лес и возвращаясь из лесу, он проходил всегда мимо нашего двора.

Прозвище Гнутый дали ему не напрасно. Он и в самом деле ходил согнувшись в дугу, что не мешало ему, как говорили, быть удивительно метким стрелком. Из лесу он никогда не возвращался с пустыми руками, всегда что-нибудь нес: то тетерку, то зайчишку, а то и лису. Когда я однажды спросил у Прокопа:

— Почему его так согнуло?

Он ответил:

— Это бог его наказал за то, что он ни в чем не повинных тварей бессловесных губит.

— Значит, телят и ягнят тоже грешно убивать,— сказал я. Мне всегда было не по себе, когда резали к празднику теленка или убивали барашка, и я убегал из дому.

— Телята и ягнята — совсем другое дело,— пояснял Прокоп.— Они домашние твари и даны на потребу человеку. Мы их для себя растим и холим, кормим, бережем. А лесных зверей и птиц бог сотворил вольными, они сами растут, сами кормятся, и убивать их грешно. Охотятся за ними только бары, а у бар, известно, нет креста во лбу. Они ради своей забавы не то что зверя или птицу, а и человека загубить могут, но доброму человеку, православному крестьянину такое не подобает. Поэтому-то Артема и согнуло в три погибели, чтоб все видели — неподобающим делом занимается мужик.

Прокоп, как я заметил, вообще относился к Артему и ко всей его жизни весьма неодобрительно. Сам он был мужик-трудяга, но хлеба с тощего надела собирал мало и, чтобы прокормить семью, выделывал овчины. От него всегда остро пахло квасцами и сырой кожей, а в избе стоял такой тяжелый, прокисший дух, что без привычки трудно было вздохнуть. Он уже много лет страдал животом и одышкой, но занятия своего не бросал, только с каждым днем становился все ворчливее и ворчливее.

Как же мог он одобрить человека, занимающегося таким пустым делом, как охота, пропадавшего даже в самую страдную пору в лесу! Понять же охотничью страсть как выражение какой-то особой любви к природе люди, подобные Прокопу, от рождения и до смерти живущие одной жизнью с ней, конечно, не могли никак.

И когда Артем неожиданно для всех умер, Прокоп истово перекрестился и сказал:

— Ну, сегодня по всему лесу, у всех зверей и птиц — светлый праздник. Они, наверно, на всех полянках пляски устраивают...

Жена Артема, справив поминки, уехала снова в Рославль, и нас, детей, долго еще пугали заколоченные окна их избы.

После смерти Артема в деревне остался только один охотник — Парфен Ломаченков, прозванный Стрельцом. Но это был человек совсем другого рода.

Наша бабка Марья не раз говорила, что все Ломаченковы гордецы, но Парфен всем гордецам гордец.

Прозвище «Стрелец» он получил не за свою страсть к охоте, а за то, что однажды стрелял в человека и сидел за это в остроге.

Внук знаменитого Федора Семеновича Парфен был старшим из четырех братьев Евстигнеевичей, державших много лет в аренде мирскую мельницу на речке Карчевке.

Я самой мельницы уже не помню, но полуразрушенная плотина стояла и при мне.

Построенная еще в крепостное время, в годы власти Федора Семеновича, она стояла как раз против старой ломаченковской усадьбы, где жили братья Евстигнеевичи, и отдавать ее в аренду кому-нибудь другому было просто неудобно. За давностью времени Евстигнеевичи считали себя чуть ли не наследственными владельцами этой мельницы.

Однако мир не хотел забывать о своих правах, тем более что пруд заливал лучшую часть деревенских луговых угодий, а аренду Евстигнеевичи платили совсем пустяковую.

До поры мужики молчали, но когда во время сильного наводнения плотину прорвало, сход решил не поправлять ее, а мельницу продать на сторону. Благо в деревне была другая мельница — стоявшая на выгоне ветрянка, принадлежавшая тоже одному из Ломаченковых. Это вносило раскол в фамильное единство и не позволило Парфену привлечь на свою сторону самых влиятельных хозяев.

А старики на досуге уже по пальцам подсчитали, что ветрянка не спеша может перемолоть весь годовой урожай не только одной деревни. Стариков поддержали бабы: без водяной мельницы и им спокойнее, не надо смотреть за ребятишками, которые все лето пропадали на пруду,— того и жди, что утонут. Поэтому они уверяли мужиков, что смолотая на ветрянке мука куда лучше — мягче, духовитее и дает больше припеку.

Мужики соглашались, но принимали в расчет совсем другое — сколько из-под пруда освободится луговых угодий, а с лугами в деревне было совсем плохо, да и скотину выпустить некуда.

Любители выпить за мирской счет прикидывали

еще и то, что уступка даже небольшого лужка на один укос даст не меньше, чем годовая аренда за мельницу.

Так мир и порешил: мельницу продать на снос. Покупателя долго ждать не пришлось, а в цене старики не подорожились.

Младшие братья Евстигнеевичи смирились, поняли, что против мира не попрешь, но Парфен видел, что с продажей мельницы исчезнет даже тень былого величия их семьи. И он заявил на сходе, что скорее умрет, чем позволит сломать мельницу — единственную память мирского благодетеля Федора Семеновича.

— За благодеяния Федора Семеновича пусть ставят свечки в церкви самозвановцы, они землю за его деньги купили,— отшучивались мужики, но Парфену было не до шуток.

В воскресенье, когда новый владелец мельницы приехал с подводчиками и велел разбирать сруб, Парфен выскочил на плотину с ружьем и на виду у всех выстрелил в успевшего уже взобраться на крышу мужика из соседней деревни. Стрелком он оказался неважным, а может быть, и хотел только попугать мужиков-подводчиков, но ружье было заряжено дробью, и одна шальная дробинка угодила мужику прямо в глаз.

Парфена тут же связали и отправили в волость, а оттуда в уезд, где его посадили в острог. Когда он вернулся с «отсидки», братья заявили ему, что больше жить с ним вместе не хотят. И державшаяся на мельнице семья распалась. Однако Парфен и тут не хотел сдаваться.

Я помню его седеньким, чистеньким старичком, всем своим видом резко отличавшимся от односельчан. Именно этой своей непохожестью на всех других мужиков он и поражал и привлекал к себе наше внимание.

Мы, кто был посмелее из ребятишек, старались нарочно попадаться ему на глаза, чтобы поздороваться лишний раз и заговорить с ним.

Он отвечал нам ласково, поглаживал по головке, а спрашивал всегда одно и то же:

— Ну, ты чей же будешь?

— Ивана Большого сын...

— А, Ивана Большого! Похож, похож. Молодец! Ну, расти большой.

Мне было не столько досадно, сколько смешно, что он не узнает меня. Ведь я не раз заходил к нему вместе с отцом, чтобы взять у него почитать настольный земледельческий календарь. В этом календаре мне нравилось рассматривать лошадей и коров, которых отец называл благородными — так не похожи они были на тех, что водились у нас.

Летом Парфен ходил в поддевке и лаковых сапогах, зимой — в крытой тонким серым сукном шубе и высоких валенках. Ни бороды, ни усов не носил. На охоту всегда отправлялся один и только в особых случаях приглашал с собой либо лавочника из соседней деревни, либо учителя.

Правда, Сергей Тимофеевич Коненков, родившийся и выросший в наших местах, много лет спустя рассказывал мне, что, приезжая из Москвы на каникулы, он иногда бывал и в нашей деревне, ездил с Парфеном на охоту. Но это тоже были особые случаи.

Коненковым уже и тогда гордилась вся наша округа. Вот, мол, свой мужик, лапотник, а как далеко пошел.

В годы моего детства Парфен уже и на охоту ходил только для поддержания былой славы. Мне часто приходилось видеть его с ружьем, но очень редко с добычей.

— Что же это вы, Парфений Евстигнеевич, с пустой сумкой из лесу идете? — спрашивал у него кто-нибудь из встречных мужиков.

— Я туда не за добычей, а ради интереса, для собственного удовольствия хожу. Тебе, чучело гороховое, этого не понять,— отвечал обычно Парфен, гордо поднимая свою маленькую голову с морщинистым, сухощавым лицом.— Ученые люди говорят, что каждый час, проведенный в лесу, удлиняет жизнь человека на целый день...

— Значит, вы до ста лет жить будете.

— А это уж не твоего ума дело, голова садовая.

Мужики относились к нему с насмешливой почтительностью, и единственного человека среди односельчан называли на «вы», как будто бы подчеркивая этим его отчужденность от своей деревенской среды. Но если кому-нибудь была нужда написать бумагу в волость,

шли к нему, а не к учителю, шли со всех окрестных деревень. Знали, что тут Парфен собаку съел. Недаром сидел в остроге. Но чаще всего к нему ходили всетаки не мужики, а бабы писать письма уехавшим на заработки мужикам. И письма, как рассказывали, писал он отличные.

Терпеливо выслушает весь бесконечно длинный счет поклонов от родни и соседей, все сетования на смертную тошноту и скуку одинокого бабьего житья без красного солнышка днем и ясного месяца ночью, наденет серебряные очки и скажет, усмехаясь одними губами:

— Ну, все?

— Все, батюшка Парфен Евстигнеевич.

— А подати у тебя заплачены?

— Нет, батюшка Парфен Евстигнеевич.

— А хлеба у тебя надолго хватит?

— Весь вышел. Вчера уж к соседям ходила занимать мучицы.

— А корову у тебя есть чем кормить?

— Нету. Скоро придется ее, сердечную, к балке на вожжах подвязывать, совсем не поднимается.

— Вот то-то, глупая баба. Об этом и писать надо, а не молоть разную чепуху про красное солнышко да ясный месяц,— все больше сердился Парфен, берясь за перо.

— Ну, пишите, как знаете. Вам видней,— соглашалась баба, утирая слезы.

Когда я теперь вспоминаю этого человека, мне кажется, что, наблюдая деревенскую жизнь немножко со стороны, он довольно трезво оценивал ее, но сам, выбитый из колеи катастрофическим обеднением своей некогда знаменитой фамилии, уже не мог, да, вероятно, и не хотел приспосабливаться к новым, неблагоприятным для него обстоятельствам. Ему было важно сохранить хотя бы видимость своего превосходства над другими, в том числе и над своими же братьями и родичами. Писание мужицких бумаг и бабьих писем ему давало, видимо, такое же внутреннее удовлетворение, как и охота ради собственного удовольствия. Никакой платы за свою работу Парфен не брал. Брала его жена Варвара, и брала все, что ни приносили,— сало, яй-

ца, мед, холстину, и не только льняную, а и посконину — на мешки. Сама она не пряла — Парфен не выносил пыли.

Походила Варвара скорее на батрачку, чем на хозяйку дома. Была она намного моложе мужа и, как у нас говорили, очень тянуча, то есть могла везти такой воз, который с первого взгляда ей совсем не под силу. Ходила всегда обтрепанная, неряшливая, но ни лаптей, ни посконины не носила, чтобы не походить на обычную деревенскую бабу. На ногах всегда хоть и стоптанные, с оскаленными зубами, да башмаки, на плечах хоть и латаная-перелатаная, да фланелевая кофта. Управляться по дому и в поле помогали дочки. Старшая, Дашка, выглядела уже совсем невестой, вторая, Пашка, тоже тянулась вслед за нею, а младшая, Аниска, была моя ровесница.

Летом, когда отходила охота, Парфен по целым дням сидел у раскрытого окна своей избы и читал газету. Что он там вычитывал, никто не знал, а на расспросы отвечал всем одно и то же:

— Это не твоего ума дело, голова садовая.

Уезжая на покос или на жатву, Варвара забирала с собой даже младшую дочку, чтобы она дома не беспокоила отца.

Дашка поступила было во второклассную учительскую школу, которая открылась неподалеку от нашей деревни при церкви села Щепет, но мать вскоре взяла ее оттуда: не могла управиться без нее по хозяйству.

В деревне поговаривали, что в дни вывозки навоза Парфен не разрешал жене и дочкам садиться с собой за стол, но, когда у них спрашивали об этом, они сердились и плакали: зачем так плохо думают соседи про их отца.

Девочки Парфеновы росли тихие, пригожие, работящие, но какие-то словно бы уязвленные. Отец запрещал им водиться со сверстницами, ходить на игрища и посиделки. И они не смели ослушаться его, хотя их, наверно, очень тянуло на люди. Ни одного худого слова про отца никто и никогда от них не слышал. Только самая бойкая из них, Дашка, иногда жаловалась моим сестрам:

— Никто нас не возьмет замуж таких. А если кто

и взял бы — отец не отдаст. Так и останемся вековать в девках. Будем жить вековухами.

Если тут же вертелся и я, она добавляла, как будто не замечая меня совсем:

— Вот разве ваш Колюшка за нашу Аниску посватается. Ему отец не откажет.

— Очень мне нужна ваша Аниска! — вспыхивал я.— Ее все дразнят редиской. Аниска-редиска... Не хочу...

— А кто ж тебе нужен? — не отставала Дашка.

— Ты мне нужна! — чтобы отвязаться, выпаливал я.

— Я ж для тебя велика. Ты даже поцеловать меня не достаешь.

— А я подрасту,— уже совсем растерянно бормотал я.

— Ну, коли так, то сейчас я сама тебя поцелую,— выпячивая губы, говорила Дашка, и я изо всех сил бросался наутек.

БАБКА ГЛУШКА И ФЕДЯ ЛАПОТНИК

Из всех наших соседей и родичей я больше всех любил крестную мать отца — Лукерию Родионовну, которую за то, что она была туговата на ухо, у нас звали бабкой Глушкой.

Это была очень ласковая и очень складная старуха, никогда никого не осуждавшая и никому ни на что не жаловавшаяся.

Рано овдовев, она всю жизнь прожила в страшной бедности, но детей по миру не пустила. К тому времени, когда я стал помнить ее, двух дочерей своих она уже выдала замуж, старшего сына женила, и он отделился, ушел из дому, а сама осталась с младшим — подростком Федей.

Федя летом нанимался в подпаски, а зимой плел лапти на продажу. У нас бабка Глушка бывала часто, а в праздники, особенно зимой, приходила вместе с Федей и даже оставалась иногда ночевать. Мать охотно отпускала меня к ним.

Изба их, до окон вросшая в землю и покрытая зе-

леной, поросшей мхом соломой, стояла не в ряду других изб деревенской улицы, а на огородах, на краю неглубокого овражка. Со своими закопченными до черного блеска стенами и потолком, скрипучими половицами и поющим за печкой сверчком, которому наперебой подсвистывали в клетках щеглы и снегири, она казалась мне необычайно уютной и чем-то напоминала сказку.

Чаще всего я бывал у бабки Глушки зимой, когда Федя сидел дома, по целым дням ковыряя лапти. В лапотном деле, несмотря на свои почти ребяческие годы, он считался отличным мастером. Лапти его были не только прочны (налей воды — не потечет), но и красивы. Головки их он украшал разнообразными и весьма хитрыми узорами из разноцветных лык — липовых и вязовых.

Такие лапти назывались писаными, и носили их у нас только девушки да молодухи, но и то лишь по праздникам. Плести их во всей деревне умели два-три человека, поэтому у Феди всегда было достаточно заказов. Как я теперь понимаю, работа эта была страшно кропотливая (не говоря уже о том, что она требовала известного художественного вкуса), а платили за нее даже по тем временам очень мало, не больше пятиалтынного за пару лаптей, и Федя едва-едва зарабатывал на соль и на спички. Табаку он не курил, хотя уже приближался к тому возрасту, когда деревенские парни начинают жениться и подружки дарят им на зимних посиделках вышитые кисеты. Федя, насколько я помню, на эти посиделки никогда не ходил. Девушки, красовавшиеся в его писаных лаптях, предпочитали водиться с другими парнями, с теми, кто побогаче, кому не нужно весной наниматься в подпаски, а зимой плести на продажу лапти, хотя бы даже и писаные. Федя, видимо, хорошо понимал это, и его природная застенчивость с годами еще больше усилилась, делала его робким и до того неловким на людях, что он терял дар речи. На девушек, которые приходили к нему домой заказывать себе к празднику новые лапти, он не смел поднять глаз. Единственным его развлечением была ловля птиц. Именно это привлекало к нему меня да и других малышей. Еще с осени он заготовлял пу-

ки мяты, дедовника, горчака, костера и укладывал все это на потолок избы. С наступлением зимы устраивал привады — ставил вокруг избы высокие шесты с привязанными к ним небольшими пучками пахучих трав. Для ловли птиц он не признавал никаких особых приспособлений, а ловил их в обыкновенное решето. Делал он это так. Ставил на огороде возле привады решето, подпирал его колышком с привязанной к нему бечевкой, конец которой протягивал в специально проделанную в окне избы дырочку, насыпал под решетом поджаренных семян льна или конопли и уходил домой. Ковыряя лапти на скамейке у окна и напевая вполголоса свою любимую песенку:

Как задумал сивый дед
В другой раз жениться,
Сел на лавку, думал, думал —
Дело не клеится,—

он, казалось, и не смотрел в окно, но всегда дергал за бечевку как раз в ту самую минуту, когда под решетом оказывался щегол или снегирь.

Ловил птиц он великое множество и почти всех раздавал соседним ребятишкам, но только тем из них, кто умел обращаться с ними и кто сам мастерил клетки. Тот, у кого подаренная птица не доживала до весны, мог к нему больше не обращаться. Я всех подаренных мне птиц немедленно выпускал, так как у нас дома не разрешалось держать их в неволе. На мои просьбы завести клетку отец неизменно отвечал отказом.

— Слушай, как они на воле поют, это много интереснее,— говорил он мне.

Тогда его слова не доходили до моего сознания, и я отводил душу, помогая Феде возиться с заключенными в клетки его пернатыми пленниками, которых он любил всей душой и, казалось, мог бы рассказать своими словами все, о чем они поют. Я также помогал Феде раскатывать размоченные в корыте лыки на «котелки», которые, нанизанные на бечевочку, становились удивительно похожими на баранки, и жадно слушал его бесконечные рассказы о повадках певчих птиц. Другие его совершенно не интересовали. Увлекшись, он начинал насвистывать, подражая то одной,

то другой птице. Выходило очень похоже, но сколько я ни старался перенять у него мотивы и повторить их, у меня ничего не получалось. Видимо, для того чтобы уловить особенности пения каждой птицы, нужно было знать их в натуре так же, как знал Федя.

Бабка Глушка всегда пряла для кого-нибудь «волну», битую овечью шерсть, и пряла не на самопрялку, а по-старинному — на веретено. Считалось, что самая тонкая пряжа, из которой бабы ткали паневы, прядется именно на веретено, на самопрялке нитка получается толще и не такая ровная. Запустив веретено и не обращая на нас ни малейшего внимания, бабка Глушка могла часами разговаривать сама с собой. Сначала это сильно удивляло и забавляло меня, но постепенно я так привык к этому, что мог совершенно не слышать ее ровного, глуховатого голоса, как бы сливавшегося с жужжанием веретена. Но иногда я невольно подслушивал, как она раздумывала вслух.

— Большой-то мой побойчей рос, порасторопней. Бывало, летом весь день со скотом в поле, а пригонит стадо домой, поужинает кое-как — и кубарем на околицу, где девки хороводы водят. Вот и захороводил себе невесту, да еще не в своей, в соседней деревне. Девка — бесприданница, да зато руки золотые и характер лучше не надо. Послал меня осенью сватать ее и велел сказать, что скот пасти больше не будет, поедет в лес на пильню работать. Все, видишь ты, загодя обдумал. И что ж ты думаешь... Согласилась девка. На филипповское заговенье сыграли честь честью свадьбу, а через неделю молодой подался в лес. Явился только к рождеству. Привез кое-чего разговеться, жене бусы подарил, мне платок. Пожил так-то три дня, а потом и говорит мне: «Ну, мать, я свою молодую забираю с собой. Она там на всю артель готовить харчи будет».— «Что ж, отвечаю, если совет да любовь, так в добрый час. Ты, я вижу, нигде не пропадешь». Так он и впрямь не пропал. Живет, работает да еще и похваляется, что каждый день гречневую кашу с конопляным маслом ест. А вот что с Федей делать, и ума не приложу. Уж больно рахманый он у меня. Такого везде затолкают. Если женится, так и жену отберут, чего доброго.

— Не бойся, старая, не отберут,— не выдерживает Федя, до сих пор делавший вид, что ничего не слышит.— Если я женюсь, так увезу жену подальше, чем Федот. Уеду с ней в шахты, на Юзовку. Там наших сябров немало...

— А как же с птицами? — спрашивал я.— Там ведь, наверно, нет таких птиц, как у нас.

— Да,— задумчиво качает головой Федя.— Об этом я не подумал. Там ведь не хлеб сеют, а уголь копают, да еще каменный. И чем там кормиться птицам, неизвестно.

Бабка Глушка по нашим взглядам догадывается, что мы подслушали ее, и грозит нам пальцем.

— Ах вы бессовестные! Разве ж это можно — подслушивать, что старый человек думает. Садитесь-ка лучше за стол, обедать будем. Я сейчас соберу.

Обед у них всегда один и тот же: щи с сушеными грибами и тюря, заправленная постным маслом. Федя жалуется, что такие харчи ему за зиму проели щеки, а мне нравится все за столом у них: и щи, и тюря из черствого хлеба, и деревянные чашки, и самодельные ложки-челночки. Но особенно нравится мне пенистый свекольный квас, которым бабка Глушка угощает нас после обеда,— каждому по большому ковшу. Такого квасу во всей деревне никто, кроме нее, приготовить не может.

В сумерки Федя отводит меня домой. Я бы с большим удовольствием отправился один, по пути посмотрел бы, как ребята-школьники — улица на улицу — играют в клюшку, но бабка Глушка ни за что на свете не согласится отпустить меня без провожатого.

— Если ты вернешься один, мать больше не пустит тебя к нам,— говорит она.

Расставаясь с Федей у крыльца, я прошу его:

— Не уезжай, пожалуйста, в шахты! Ведь ты же сам говоришь, что ничего, кроме каменного угля, там не растет. Чем же ты птиц там кормить будешь?

— Я еще подумаю,— отвечает Федя и тут же добавляет: — А надо б уехать. Пусть бы наши девки походили без писаных лаптей. Тогда б небось не раз меня вспомнили...

ДЕД АНАНЬЯ

Совсем не похож на бабку Глушку был дед Ананья. Если та покорно и терпеливо несла свою нелегкую долю, жалуясь на житейские тяготы только самой себе, то он не только говорил, а даже кричал на всех перекрестках о несправедливостях жизни.

Происходил дед Ананья из обедневшей ветви ломаченковской фамилии, по прямой линии от знаменитого Федора Семеновича. Может быть, именно поэтому он так остро переживал свою бедность, тем более что воевать ему приходилось чаще со своими же однофамильцами. Жил он в полуразвалившейся избе у самого выгона. Четверо его сыновей один за другим покинули отцовское гнездо, где не к чему было приложить руки, и подались на Юзовку, в шахты, оставляя на отца жен и малых ребятишек. Помощи от сыновей-шахтеров было мало, а какая и была — шла на уплату податей, и в хозяйстве с каждым годом обнаруживалось все больше и больше прорех, которые не хватало сил залатать. Во дворе у него была всего одна лошаденка — тощая рыжая кобыла, все лето ходившая со сбитым крестцом и разъеденным оводами ухом. Чтобы она не отощала еще больше, дед Ананья убивал всех жеребят, каких она приносила. Но годы шли, кобыла старилась, приходилось уже думать о замене. Хозяин думал, думал и решил наконец оставить в лето жеребенка. Сосунок задался хороший, шустрый, но мать его уже елееле таскала ноги, и Ананья запаздывал со всеми работами. Его не в пору посеянные нивки со всех сторон опахивались, обкашивались и сбивались более справными соседями. Несвезенное сено топтал чужой скот.

Ананья набрасывался на первого встречного и, размахивая обтрепанными рукавами серого зипуна, кричал:

— Живоглоты, пропадите вы все пропадом! Подавитесь моим добром!

Однажды, заметив рано утром на своей нескошенной полоске лошадей однофамильца Филиппа, он, вместо того чтобы немедленно забрать их к себе в хлев и потом взыскать с хозяина за потраву, побежал к нему

на гумно, где в это время шла молотьба. Сорвал с плеч худой зипун и бросил его на ток.

— Кругом обобрали, так берите и последний зипун! Пусть Ананья совсем голый останется!

В своей семье Ананья тоже иногда выкидывал такие «коленца», о которых потом неделями говорила вся деревня. Так, однажды поздней осенью, в самую гололедицу, пришел он домой с какого-то мирского праздника «на цыпочках», как деликатно выражался сам. Бабы — старуха с невестками — тут же, конечно, набросились на него: такой, мол, сякой. Дома детям есть нечего, а он бездельничает да еще и пропивает последние гроши. Чем с таким хозяином жить — уж лучше совсем без хозяина остаться. Станет не на кого надеяться, так и душа спокойнее будет.

— Ах, вы так! — рассердился Ананья.— Вы недовольны? Значит, давайте делиться. Сей же час делиться! Ваша хата, а моя дверь, и печка моя, по стариковскому праву.

И без лишних слов тут же снял с завесок дверь, взвалил ее себе на спину, отнес на задворки и по наледи спустил в овраг.

Вернувшись в избу, забрался на печку, укрылся худым зипуном и говорит:

— Жалко молодку Васюту, ей скоро рожать надо. А то бы и рамы из окон выставил. Они тоже мои. Сам делал. Идите теперь к старосте, жалуйтесь, что я неправильно разделился с вами, а я буду отдыхать.

И сразу, как ничего не бывало, захрапел, словно пеньку продал.

А бабам и смех и горе.

Завесили избу дерюжкой и отправились выручать дверь из оврага. До самого вечера бились с нею невестки, но свекра больше уже никогда не трогали, если он приходил «на цыпочках». Боялись, что еще мудренее «коленце» выкинет.

Когда он бывал под хмельком, а случалось это почти в каждое воскресенье, Ананья собирал ребятишек со всей своей улицы и, окруженный ими, шел по деревне, распевая одну и ту же частушку:

На печи калачи,
А в печи каша.
Скоро сгинут богачи —
И все будет наше.

Сельский староста Ефим Егоренок в это время не смел попадаться на глаза и посылал десятского — мрачного вида мужика Ивана Сухого,— который без лишних разговоров скручивал ему руки и отводил домой, а если тот сопротивлялся, запирал в пустой мирской амбар-магазею, откуда его обычно освобождали мы, дети. Нас восхищала его смелость в разговорах с сельскими властями, и мы с восторгом повторяли каждое его слово.

ИСАЕНКОВЫ ПРИБАУТКИ

После деда Ананья самой большой любовью всей нашей деревенской молодежи, и особенно детворы, пользовался Иван Исаевич Юденков, Исаенок, неказистый мужичок, ходивший, как воробей, вприпрыжку и постоянно с кем-нибудь разговаривавший: со своей вороной кобылкой, с придорожными ветлами, с грачами на пашне, даже с жаворонками в небе, находя для всех ласковое слово. Но нас он поражал и удивлял не этим, а тем, что мог целыми часами говорить о чем угодно в рифму, создавая на ходу нечто вроде веселого райка о самых последних происшествиях и событиях сельской жизни, выдавая крылатые присловья по любому случаю. Встретит, например, мужика, идущего в лес за лыками осенью, когда драть их без распарки уже невозможно, и тут же скажет, как приклеит:

— Эх ты, лежень, лыки дерут в межень! (То есть с весны до середины лета, пока не кончилось у деревьев движение соков.)

Эта его способность совершенно не задумываясь находить звонкие, окликающие друг друга слова и ставить их так, что речь становилась складной, сразу запоминающейся, казалась нам чуть ли не волшебством.

Как только в праздник он появлялся на улице, мы тот же час окружали его со всех сторон и наперебой просили:

— Дяденька Исаенок, скажи нам что-нибудь складное да посмешней чтобы. Ну, дяденька Исаенок...

Тот делал строгое лицо и укоризненно покачивал головой:

— Ах вы огольцы! Какой я вам Исаенок? Я ж для вас, как пень для опенок. Вы должны меня чтить-почитать, по имени-отчеству величать.

Мы уже повизгивали от восторга, но, чтобы подзадорить его еще больше, те, кто постарше да побойчее, отвечали:

— По имени и отчеству у нас во всей деревне кличут одного старосту.

А Исаенку только того и надо было.

Ну вот, скажите, пожалуйста,
А чем же я хуже, чем староста?
Тем, что мирских косяков не кошу
Да вместо медалей заплаты ношу?
Так ведь медаль на совести тоже заплата.
Только об этом молчок, ребята.

И, словно спохватившись, он решительно переводил речь на другое, на то, как намедни поссорились на огороде две сварливые соседки. Подмигивая то одним, то другим глазом и по-воробьиному подпрыгивая на месте, он уже сыпал своей скороговоркой:

Укоряла соседку соседка:
— Роет гряды твоя наседка.
Ты б, чем в хате сидеть без дела,
За цыплятами б хоть приглядела.—
А другая ей отвечала:
— Про себя подумай сначала
Да спроси построже у дочки —
Где она коротает ночки,
А не то принесет девчонка
Для тебя в подоле внучонка.

Мы, конечно, хорошо знали, о каких соседках шла речь, подхватывали на лету, старались запомнить каждое слово, и назавтра уже вся деревня повторяла Исаенкову прибаутку. Жили такие прибаутки только до

тех пор, пока не охладевал интерес к вызвавшим их событиям, которые вытеснялись из памяти более свежими. Сам Исаенок забывал их еще быстрее, а записывать их ему, наверно, и в голову не приходило, хотя человек он был грамотный и, как говорили у нас, повидавший свет за околицей.

Работал в молодости на лесопилке, а потом и на бежецком заводе, да что-то не ужился там, вернулся к своему наделу, на свою печку.

Я запомнил его уже изрядно поседевшим, в той поре, когда мужики посылают в поле подросших сыновей, а сами хлопочут возле двора да на гумне. Исаенок же любил полевые работы, сам пахал, сам бороновал, сам даже водил кобылу в ночное и на полдни. Именно водил, так как никто не видел, чтобы он когда-нибудь ехал на ней верхом. Сыновья же, два рослых парня, либо драли лозу на продажу, либо ходили с сачками возле речки. За двором и за гумном присматривала жена — Исаиха.

Зажиточные мужики считали Исаенка человеком неосновательным, пустословом, но языка его побаивались, старались не ввязываться с ним в ссоры, особенно на мирских сходках.

Впрочем, на этих сходках он и сам развязывал язык весьма неохотно; гораздо охотнее, откровеннее говорил с нами, детьми, и я до сих пор считаю его одним из тех людей, кому я обязан своей, зародившейся еще в раннем детстве, любовью к живому русскому языку, к меткому народному слову, бьющему не в бровь, а в самый глаз.

ИВАН СУХОЙ И ХАРЛАМ КРИВОУСТЫЙ

По соседству с нами, напротив Крямчука, как раз на самом выгоне, жили два неразлучных друга — Иван Сухой и Харлам Кривоустый. По характеру они были совсем разные люди.

Сухой слыл человеком нелюдимым, скупым и несговорчивым. Говорили, что даже скоромину для заправки горшков он выдавал жене каждое утро сам, а ключи от клети носил у себя на поясе.

Вероятно, именно поэтому его много лет подряд деревня нанимала на должность десятского. Десятский обязан был не только оповещать домохозяев о сельских сходках, но и следить за порядком в деревне.

Жил он не богато, но и не бедно. Хлеб ел с половой, но свой, и его у него хватало как раз до нови. К сенокосу у него всегда оставался нетронутый окорок. У богачей он одалживаться не любил, но и сам в долг никому не давал. Соседи это хорошо знали и не решались попросить у него даже лык на лапти, которых у него было заготовлено на несколько лет вперед. Единственное исключение составлял Харлам Кривоустый — ему Сухой ни в чем не отказывал. А хозяин Харлам был самый никудышный. Все у него шло через пень колоду.

Осенью каждый день были на столе пироги да блины, сало да шкварки, а зимой и горелой корки не случалось видеть по целым неделям. В его избе находили приют все странники, но особенно любил он слепых нищих, которые прибивались к нему целыми ватагами. Продав в соседней деревне лавочнику на корм для свиней свои кусочки, они устраивали у Харлама настоящие пиры с совсем не божественными песнями и трепаком под лиру. Посмотреть на такое диковинное зрелище под окна Харламовой избы собирались ребятишки со всей деревни. Мой приятель Филька Прокопенок занимал всегда самую выгодную для наблюдений позицию и кричал мне:

— Вот, брат, отчубучивают так отчубучивают! Слепой Пармен вприсядку пошел со своей рябой поводырихой. Трясет перед нею портками, что твой зрячий! А Харлам-то, Харлам слепую Федору подхватил!

Харлам, услышав нашу возню и шум под окнами, выбегал в сени, шикал на нас, но никогда не прогонял. Ему, видимо, даже нравилось, что хоть мы, ребятишки, видим, что и у него бывают праздники, что и он справляет пиры.

Дружба у него с Иваном Сухим началась со ссоры из-за колодца. В то время отдельные колодцы имели только богатые мужики, остальные копали их на несколько дворов и сообща содержали в порядке. Один из таких колодцев был вырыт против Харламовой из-

бы. Черпали воду в нем, как и во всех других мирских колодцах, бадьей, прикрепленной шестом с цепью к ваге, называвшейся у нас журавлем.

На нижнем, упиравшемся в землю конце ваги укреплялась дубовая колода, гнет, и, чем тяжелее был этот гнет, тем труднее было утопить бадью, но зато тем легче поднимать ее с водой. На ваге Харламова колодца гнет оказался слишком тяжелым, и женщины с большим трудом могли утопить бадью, которая, даже наполненная водой, сама взлетала кверху, вырывая из рук шест...

Казалось бы, чего стоит сменить гнет, уменьшить колоду. Работы на полчаса, не больше. Но ни Иван Сухой, ни Харлам Кривоустый не хотели за это браться. Каждый из них считал, что сделать это должен не он, а сосед. Сухой, потому что не его очередь, а Харлам, потому что он воды берет меньше. Так продолжалось до тех пор, пока Сухому не надоело слушать ежедневную ругань баб, которым чаще, чем мужикам, приходилось ходить по воду, и тогда он решил проучить Харлама.

Поздно вечером, когда сосед уже спал, он отправился к колодцу. Утопив бадью, кое-как привязал гнилой веревочкой к верхнему концу ваги небольшой чурбан и осторожненько отпустил журавель кверху.

«Ну,—думает,— придет завтра раненько Харлам за водой, на ночь он никогда не догадается наносить, рванет по своей дурацкой привычке шест с бадьей, станет нагибать вагу, а чурбан и сорвется, даст ему по глупой башке. Так ему будет и надо. Может, хоть немножко дурь да лень выбьет, отучит все сваливать на соседей...»

Дома Сухой, конечно, ничего не сказал, а жена с невесткой, как нарочно, затеяли бучить холсты и чуть свет попросили его сходить за водой. Придя к колодцу, он первым долгом взглянул на журавель. Привязанный им чурбан, к его удивлению, был на месте, хотя в окнах Харламовой избы светился огонек.

— Догадался, что ли, Кривоустый бес, или все еще не собрался за водой сходить,— сплюнул Сухой.

Но делать было нечего. Приходилось доставать воду первым. С той же осторожностью, что и вечером, он взялся за шест и начал нагибать вагу, все время погля-

дывая на чурбан. Вот уже журавель склонил шею почти к самому срубу колодца, а вот и бадья, бултыхнувшись, утонула, зачерпнула воды.

Тут бы и снять чурбан от греха, но Сухой решил, что если он не сорвался сразу, то и теперь не сорвется. Пусть подождет Харлама. Придерживая шест, он спокойно начал опускать вагу. Журавель все выше и выше поднимал шею, и наконец бадья показалась над срубом. Теперь оставалось только подвести ее к ведрам и вылить воду. Но в то самое мгновение, когда нижний конец ваги с колодой ткнулся в землю, шея журавля напружинилась, качнулась, и, чего Сухой совсем не ожидал, чурбан сорвался.

Оглушенный ударом по голове, он свалился замертво, выплеснув на себя всю воду из бадьи. Принес его домой, ни живого ни мертвого, Харлам. Бабы завыли, уложили хозяина под иконы, на кут, как покойника. Все утро пролежал, а к завтраку все же очухался.

Словно разбуженный причитаниями жены, открыл глаза и хриплым голосом сказал:

— Замолчи, дура, я еще живой. Пошли лучше сноху за Харламом. Буду у него прощения просить.

— Пошлю, Иванушка, пошлю, родной. И сама хоть на край света пойду, только бы ты остался с нами,— засуетилась не смевшая никогда молвить ему наперекор слово жена.— Мы уж думали, что на тот свет собрался.

— А ты небось обрадовалась, недотепа, думала, сама хозяйкой останешься. А на том свете я и в самом деле побывал. Поводили меня там какие-то галки-монашки по темным закоулкам, да нигде места для меня не нашли. Видно, приготовить не успели. «Ну ладно, говорят, ступай пока домой да проси у Харлама прощения и впредь не рой под соседа яму. Сам попадешь».

Вот с той поры и стали они с Харламом друзьями.

„ПО КУСОЧКИ"

Одним из самых беднейших дворов во всей деревне был двор нашей соседки Татьяны Васечкиной, прозванной за ее болтливость и непоседливость Сорочкой. Да

и изба ее походила больше на сорочье гнездо, чем на избу.

Муж Сорочки Данила много лет подряд, чуть ли не с самой женитьбы, жил в батраках у богатого рославльского купца и лесопромышленника Мухина, которому всегда был кругом должен, так как все свое жалованье забирал вперед. Когда он, уже совсем больной, получил у хозяина окончательный расчет и явился в свою семью доживать последние дни, у нас стали в насмешку называть его Мухиным.

Умер Данила на своей печке как-то незаметно, и, как я теперь вспоминаю, ни жена его, ни дети, выраставшие, в сущности, без него, не были особенно удручены его преждевременной смертью.

Сорочка, конечно, повыла для приличия, а возвращаясь с кладбища, сказала соседкам:

— Ну что ж... Пухом ему земля. Не был он мне на этом свете кормильцем, так пусть хоть на том свете будет заступником.

Осталась она после мужа с пятерыми детьми. Двое старших сыновей и дочь еще при жизни отца пошли батрачить. Дома с матерью жили две младшие дочери — Федосья и Наташа.

Федосья была года на два постарше меня. Ходила она не в зипуне на фалдочках, какие обычно носили у нас девочки, а в старом отцовском пиджаке. Вместо того чтобы повязать голову платком, надевала, смотря по времени года, картуз или шапку. На нашей околице она командовала не только всеми ровесницами — девчонками, но даже и мальчишками. Была заводилой во всех наших играх и проказах, за что получила прозвище «Солдат». Сестра ее Наташа, наоборот, росла тихоней.

Тоненькая, бледная, с жиденькими льняными косичками и большими, широко раскрытыми, словно удивленными глазами, она вся светилась изнутри каким-то тихим светом.

С ней хорошо было посидеть, помолчать, но играть мы предпочитали с Федосьей.

Играли мы обычно у них на пустом дворе, где под полураскрытыми поветями и на варке́ подсыхал давно не вывозившийся навоз.

Землю свою Сорочка сдавала в аренду, сама обрабатывала только приусадебный огород, да и то коекак. Лошади она не держала с тех пор, как вскоре после смерти Данилы пала от бескормицы их старая мышастая кобыленка Машка.

Того, что зарабатывали старшие дети в батраках, едва-едва хватало до масленицы, после чего Федосья и Наташа отправлялись «по кусочки», побираться под окнами, просить христа ради милостыню.

При жизни мужа Сорочка еще не решалась надевать детям на плечи нищенские сумки, но когда тот умер, сказала, что сиротам и сам бог велел кормиться христовым именем.

Наташа, несмотря на то что она была поменьше сестры, стеснялась своего нищенства и не любила говорить об этом, а Федосья — та рассказывала о своих хождениях под окнами весьма охотно, даже с какой-то гордостью, удивительно живо представляя в лицах, как какая хозяйка подает милостыню, что приговаривает.

Эти рассказы были настолько интересны и увлекательны, что мне захотелось и самому пройтись под окнами, и я начал упрашивать Федосью, чтобы она когда-нибудь взяла меня с собой.

— Да разве ж твоя мать пустит тебя со мной! — усмехнулась та.

— А я убегу тайком от нее.

— Ну да, убежишь, а потом на меня все свалишь, скажешь, я подманила. А твоя мать придет и нажалуется моей Сорочке, и будет мне лупка. Ты знаешь, как она больно дерется.

— Да моя мать ничего не узнает. Вот те крест святой, не узнает,— продолжал я упрашивать несговорчивую девчонку.— Скажу, что был у бабки Глушки, с Федей снегирей ловил.

Федосья на минуту задумалась.

— Ладно уж. Приходи завтра сразу после завтрака на плетневскую околицу. Я буду там ждать тебя. Только, смотри ж, не говори никому. Если скажешь, голову откручу, как цыпленку,— закончила она злым шепотком.

Разговор этот происходил в их избе за печкой, где

мы любили сидеть зимой в сумеречные часы, пока Сорочка болтала где-нибудь у соседей на посиделках.

На этот раз я долго засиживаться у них не стал, боясь, как бы Федосья не раздумала брать меня с собой, и, не дожидаясь возвращения Сорочки, убежал домой.

Утром, позавтракав на скорую руку, я надел новые валенки, полушубок, обмотал шею теплым шарфом и, сказав, что буду весь день ловить с Федей снегирей и щеглов, опрометью бросился из избы.

Федосья действительно ждала меня за околицей деревни. Заметив ее издали, я пустился к ней бегом, весело размахивая теплой вязаной варежкой. Но мое появление совсем не обрадовало ее. Увидев, как я нарядился, словно собирался в село на базар, она презрительно оглядела меня с головы до ног, сердито фыркнула, потом вдруг сорвала с моей головы шапку-ушанку и начала хлестать меня ею по лицу, по глазам, по чем попало, приговаривая:

— Ступай домой, дурак, ступай домой, чтоб и глаза мои тебя не видели. Разве такие по кусочки ходят? Если ты со мной пойдешь, так мне никто и горелой корки не подаст.

Я расплакался и побежал к бабке Глушке. Почему рассердилась на меня Федосья, я тогда так и не понял, но еще раз попроситься пойти с ней «по кусочки» уже не решался, смутно догадываясь, что и для нее это совсем не такое веселое занятие, как она рассказывала.

ОВЦЫ И „ОВСЫ“

В детстве у меня была скороговорка. Я так частил, особенно когда рассказывал что-нибудь интересное, что непривычному уху трудно было уследить за нитью рассказа, хотя я отчетливо выговаривал каждое слово.

Мне ничего не стоило выпалить единым духом самую трудную языколомку, на которой спотыкались все мои приятели. Не сморгнув глазом, я мог несколько раз подряд, вертясь для форсу на одной ноге, повторить: «Ехали купцы по проулку и говорили про покупку, про муку, про крупу и про пакрупье»...

Ребята дразнили меня за это трещоткой, лопотухой, но я не обижался и даже гордился своим прозвищем. Потом, в школьные годы, моя скороговорка доставляла мне немало огорчений, и я с большим трудом избавился от нее. А пока что говорил так, как говорилось, радуясь каждому новому слову, подхватывая их, как мячик на лету.

Картавости я не терпел, и сам, даже когда выпадали зубы, не картавил. Если при мне кто-нибудь из детей выговаривал не так, как полагалось, я лез в драку.

Больше всего от меня доставалось, конечно, Андрею, который всегда был рядом и редкое слово произносил правильно.

Мне казалось, что картавит он нарочно, назло мне, так как не мог допустить, чтобы он не сумел выговорить то, что выговаривали все вокруг, и воспринимал его косноязычие как прямую обиду.

— Не смей говорить калтошка, говори картошка! — кричал я на него, топая ногой.

— Ну, картошка,— лениво тянул Андрей, не понимая, чего я от него хочу, почему пристаю с такими пустяками.— Пойдем иглать в салай...

— Ах, ты еще в салай!

Я тут же давал ему подножку, валил его на землю, хотя он был гораздо здоровее меня, и начинал колотить.

— Вот тебе за калтошку. Вот тебе за салай. Получай и помни, что я больше не стану играть с тобой, если ты будешь дразниться.

— А я и не длазнюсь, это ты всегда делешься,— хныкал Андрей.— Вот погоди, я все расскажу твоему батьке,— грозился он, но я хорошо знал, что жаловаться на меня он не станет. В семье у нас жалобщиков не поощряли. «Жалобщику первый прут»,— говорила всегда бабка Марья.

Но чего я совершенно не мог понять как тогда, так и много позже,— это неправильного выговора у населения целой деревни — и у детей и у взрослых, как это было в соседней с нами Плетневке.

Ранней весной, до найма пастуха, мы вместе с плетневскими ребятишками пасли на смежных пустошах овец. Я сразу же обратил внимание, что слово «ов-

ца» никто из них не мог произносить. Все говорили «овса».

Драться за это со всеми было, конечно, невозможно, но, вернувшись вечером домой, я заявил отцу, что больше с плетневскими ребятами овец пасти не буду.

— Это почему же? — удивился отец.

— А потому, что они все дразнятся.

— Как дразнятся?

— А вот так и дразнятся. Говорят не овцы, а овсы.

— Вон оно что,— усмехнулся в усы отец.— Ну и чудак же ты, брат. Да они всегда так говорят, и малые и большие. Язык, видно, у них такой. Кто-то из их прадедов проглотил нечаянно букву «ц», так они до сих пор и живут без нее. За это их соседи дразнят: «Куриса снесла яйсо. Волк ссапал овсу. Сарь сарюет. Сариса саря салует». Тут, брат, не то что мы с тобой, а и сам земский начальник ничего не попишет. Придется помириться.

— Не стану я мириться, и слушать их не хочу, и овец с ними пасти больше не буду,— отвечал я чуть ли не со слезами в голосе.— Пусть Андрей попасет, вот и все. Он с ними дружит, в лапту играет, а я не хочу.

— Да они же ни в чем не виноваты,— пытался заступиться за плетневцев отец.— Это я пошутил, что какой-то их прадед проглотил букву «ц». Их барин переселил сюда в старину из каких-то таких мест, где все говорили так, как они. Нам это удивительно, а там — за обычай. Так чем же они виноваты?

— Виноваты. Все равно виноваты,— не унимался я.— Пусть говорят как следует, как все. А то даже слушать противно. Уши вянут.

— Уши вянут?— переспросил, перестав улыбаться, отец и вдруг нахмурился.— Это ты, брат, брось. Если уши у тебя такие нежные, ты заткни их, не слушай. А овец пасти с ними ты будешь. Понял? Так и заруби себе на носу. И чтоб я больше не слышал об этом.

Убедить отец меня не убедил, но, взглянув на него, я почувствовал, что тут упрямиться бесполезно. Все равно отец переупрямит. Однако и сдаваться сразу мне тоже не хотелось.

Глядя мимо отца, я сказал:

— Ладно уж. Если ты так заступаешься за этих плетневцев, я буду пасти с ними овец. Даже говорить буду, как они. Вот увидишь.

— Не увидишь, а услышишь,— поправил меня отец, и в усах у него снова мелькнула улыбка.

— Ну, услышишь,— повторил я, все так же глядя в сторону.

— А если услышу — не возьму на пасеку с собой, когда поеду подчищать ульи... А ты ведь хочешь на пасеку?

— Хочу,— признался я.

— Ну то-то. Значит, уговор дороже денег.

Отец похлопал меня по плечу и, считая разговор оконченным, ушел из избы во двор.

А я еще долго ломал себе голову над совсем не детским вопросом, почему все говорят «овцы», и только одни плетневцы, несмотря на насмешки соседей, держатся за свое и упорно твердят «овсы»?

ПРАСОЛ НИКОЛАЙ ХЛЮСТИК

Наша местность издавна славилась своими льнами. Сеяли у нас лен все, у кого был хоть небольшой клочок земли, и сеяли с таким расчетом, чтобы хватило и бабам на прядево и осталось кое-что на продажу. Выручки от пеньки редко у кого доставало даже на то, чтобы уплатить подати, а в хозяйстве и кроме податей, всегда оказывалось немало прорех, которые без серебряной иголочки не залатаешь.

Трепаный лен в прежние, стародавние времена мужики по первопутку отвозили либо в свой уездный город Рославль, либо чуть поближе — в местечко Рогнедино, где, как рассказывают, наш лен скупщики «отрывали с руками».

Но на моей памяти уже весь лен, чуть не на корню, скупали наши местные прасолы, подручные крупных льноторговцев-оптовиков. Одного такого прасола я хорошо помню. Это был самозвановский мужик Николай Хлюстик.

Весной у него можно было на всякую неотложную нужду перехватить под лен пятерку-другую денег, а к

осени почти все мужики оказывались его должниками.

Как только устанавливалась санная дорога, он начинал объезд своего «прихода». Тут уж должникам ничего не оставалось делать, как продавать ему лен по той цене, какую он назначал. Мужики кряхтели, ругали его на чем свет стоит, клялись, что больше к этому живорезу ни в жисть не пойдут за деньгами, но весной опять начиналось все сначала.

Мой отец никогда не одалживался у Хлюстика, и поэтому, бывая в деревне, он к нам заезжал в последнюю очередь.

Привязав у крыльца шустрого мышастого жеребчика, не раз выносившего хозяина из беды, он входит в избу с большим медным безменом под мышкой и с ременным кнутом в руке. Поставив все это в угол, он обметает веником длинные, выше колен, валенки, сдергивает с головы треух, торопливо крестится и уже потом снимает армяк, надетый поверх романовского полушубка черной дубки. Без армяка он становится ниже ростом. На обветренном лице его смешно топорщатся рыжие усики. Видно, что он привык быть на людях и в каждой избе чувствует себя, как дома.

— Ну, здорово живете, хозяева. Дозвольте у вас обогреться с морозцу.

— У нас тепло не продажное. Кто в избу зашел, того и обогреет,— отвечает бабка Марья, не скрывающая своего нерасположения к Хлюстику.— Садись, коли с добром пришел.

Тот делает вид, что не замечает ее недружелюбного тона и даже весело подмигивает ей, похлопывая себя по карману.

— Я в каждый дом захожу с добром. Таково наше ремесло. А если кто моим добром недоволен, так на всех не угодишь, дражайшая Марья Федоровна. Мой покойный дед, царствие ему небесное, говаривал, поучая нас, глупых, уму-разуму: «Горек будешь для всех — заплюют, сладок будешь — оближут».

— А как почин с ленком? — спрашивает отец, чтобы перевести разговор.

— Какой тут у вас лен! — морщится Хлюстик, свертывая цигарку.— Одна пакля... Я только и хлопо-

чу, чтобы свои деньги выручить, что весной раздал. Нет, разучились у вас мужики сеять лен, разучились и бабы трепать...

Я вижу, что бабка Марья все плотнее поджимает губы, и жду, что она вот-вот обрежет Хлюстика, но отец это замечает не хуже моего и, когда она уже начинает жевать губами, как бы подбирая покрепче слова, окликает ее:

— Ты бы, мать, подала чего-нибудь на стол, а то Николай, гляди, за делами и пообедать забыл...

И снова обращается к Хлюстику:

— А насчет ленку ты напрасно. Нынче ленок уродился, слава богу, ровный, как щетка.

— Так его ж ваши корчевские лешаки на стлищах сгноили,— не сдается Хлюстик.— Возьмешь горсть — глядеть не на что. Ни цвету, ни мягкости, ни прочности. Хозяину стыдно показывать. Одна надежда на тебя. Выручай.

— А ведь ты это каждому говоришь,— смеется отец.

Хлюстик тоже смеется, обнажая крепкие прокуренные зубы.

— На том стоим, на том хлеб едим. Так показывай свой лен. До этого я и за стол не сяду.

Я опрометью бросаюсь к полатям за шубейкой и торопливо натягиваю ее на плечи, чтобы не отстать, когда они отправятся в амбар.

Хлюстик только теперь обращает на меня внимание. Когда мы выходим на крыльцо, он дергает меня за ухо.

— Смотри-ка ты, какой вырос мой тезка — скоро женихом станет. А у меня к тому времени дочка заневестится. Может, породнимся, Иван?

— А что ты нам за дочкой в приданое дашь? — подергивая усами, спрашивает отец.

— Что в приданое дам? Да вот этот безмен.

— Зачем он, твой безмен? — выпаливаю я и прячусь за отца.

Хлюстик хватает меня за руку и тащит к себе.

— Безмен, тезка,— вещь важнеющая. С ним умные люди большие капиталы наживают. Я из тебя такого прасола сделаю, что закачаешься.

— Нет, нам такое дело не подходит,— уже совсем серьезно говорит отец и кладет мне на плечо свою большую ласковую руку.

Хлюстика это явно обижает.

— А ты что ж, все надеешься из него учителя сделать? Вот уж и вправду не мужицкое дело.

В амбаре лен сложен большими кулитками, которые у нас зовут также и кулинками, связками из нескольких десятков горстей свернутого куколками трепаного волокна.

Хлюстик выдергивает горсть из одной кулитки, из другой, третьей, расправляет их на ладони, встряхивает, пробует на прочность, рассматривает на свет, нюхает...

— Больше двух целковых за пуд я нынче у вас никому не даю. Бери по два с четвертаком и привози весь чохом.

Отец молча пожимает плечами: дескать, пустой разговор, и берется за ключи.

— Мне продавать не к спеху. Подожду, пока подойдет пенька, и разом повезу в Рославль.

— Да ты погоди,— останавливает его Хлюстик.— Погоди. Сколько, ты думаешь, тебе в Рославле дадут?

— Сколько ни дадут — все наше будет. А за две с четвертаком не отдам.

Хлюстик опять начинает перекидывать одну за другой кулитки, выдергивать горсти.

— Ладно, так и быть — два с полтиной. Только не говори никому, что я тебе такую цену дал, а то меня убьют ваши лешаки. Ну, по рукам. Сейчас и задаток получишь.

— Три с четвертаком,— позванивая ключами, говорит отец.

— Да такой и цены сейчас нет!— уже кричит Хлюстик.— Ты знаешь, сколько льна нынче сеют? Скоро будут им хаты конопатить.

— Так ты же говорил, что настоящего льна во всей округе нет,— напоминает ему отец.

— Не в округе, а в вашей чертовой Корчевке, будь она проклята. У вас тут зимой льду не докупишься. Твоему льну в Рославле красная цена — два целковых и семь гривен, а его еще нужно туда доставить.

Торгуются долго, битый час, то выходя из амбара, то снова возвращаясь туда. Наконец сходятся на трех целковых за пуд и бьют по рукам. Хлюстик тут же вручает отцу задаток.

— Себе в убыток покупаю, да уж больно ленок мне понравился. Не могу отступиться. Характер такой, что ты будешь делать!

— Не скрипи, не скрипи,— утешает его отец.— По полтине на пуд заработаешь.

Но Хлюстик никак не может успокоиться:

— По полтине на пуд. Да разве это заработок! Это вот — тьфу — наплевать и растереть!

Хлюстик и в самом деле смачно плюет на струганый пол амбара и тут же яростно растирает плевок ногой.

— Мне за все хлопоты полтинник, а хозяину моему подавай рубль, иначе он и дела со мной иметь не станет. А народ теперь пошел такой, что лучше голым задом в крапиву садиться, чем с ним водиться.

Слушая сердитые слова Хлюстика, я думаю, что он сейчас же сядет в свои санки и уедет, чтобы никогда уже больше не появляться у нас. Но он как будто ничего не бывало заходит с отцом в избу, снимает полушубок и достает из бездонного кармана штанов бутылку водки.

— Ну вот, дело сделано, теперь и подкрепиться можно, и магарыч выпить. Только ты имей в виду, Иван, магарыч за твой счет. Сват сватом, брат братом, а денежки не родня.

Бабка Марья, ни на кого не глядя, ставит на стол две рюмки, большую деревянную тарелку с нарезанными тонкими пальчиками салом и кладет краюху хлеба. Хлюстик, не ожидая приглашения, присаживается к столу и ловко, одним ударом ладони выбивает пробку из бутылки. Чокнувшись с отцом, он крестится рюмкой и приговаривает, словно читая молитву,— изыди, нечистая сила, останься чистый спирт. При этих словах бабка Марья отворачивается и незаметно сплевывает. А Хлюстик уже успел выпить и, закусывая холодным салом, пеняет отцу:

— Грамотный ты мужик, Иван, даже газеты читаешь, а гостя потчуешь с деревянной тарелки.

Мне очень интересно знать, что ответит отец. У нас есть настоящие тарелки, с красными и голубыми цветами, но бабка Марья не захотела доставать их ради Хлюстика. А отец даже не шевелит усами.

— С чего сами едим, с того и гостя потчуем. Я что-то не замечал, чтобы на глиняных тарелках сало было вкусней, чем на деревянных...

— Брось, брось,— перебивает его, снова наливая рюмки, Хлюстик.— Все это мужицкая скупость. Мужик гонится за грошом, а теряет рубль. Мне один мой приятель, рославльский прасол, рассказывал, что, принимая от мужиков лен, он никогда не вешает его на весах, а только на безмене — по полпуду зараз. Взвесит полпуда — дает мужику пятиалтынный для счету. Сколько пятиалтынных — столько и полпудов. Так вот, при расчетах у него не было случая, чтобы кто-нибудь прибавил к полученным свой пятиалтынный, а утаивают сплошь и рядом. Оставят у себя пятнадцать копеек, а недополучат полтора рубля. И еще радуются — обманули дурака прасола.

— Сказки рассказывает твой прасол,— отмахивается отец.

— А по-моему, это святая правда. Я как-нибудь попробую и сам.

В избе начинает смеркаться. Стекла на окнах сначала синеют, потом желтеют. На них появляются серебряные разводы. Отец смотрит на часы-ходики.

Время идти готовить для скотины корма на ночь.

Хлюстик тоже достает свои карманные часы. Он нажимает ногтем на ободок, и крышка, щелкнув, открывается.

— Твои ходики, Иван, спешат, ты по чем их ставил?

— По солнцу.

— Поставь по моим. Мои на пять минут точней солнца.

Крышка снова щелкает, захлопываясь, и он прячет бронзовую луковицу в карман, довольный собой, часами, началом закупки льна, всеми обделанными за день делами.

— Хороша беседа у соседа, а домой собираться надо.

Когда Хлюстик наконец уезжает, бабка Марья начинает торопливо убирать со стола, чтобы духу его не осталось.

— С тех пор как завелись вот такие хлюстики, и лен хуже родиться стал, и старание у людей пропало. Недаром он и прозвище такое еще смолоду получил. Одно слово — Хлюстик.

ЗАХОЖИЕ ЛЮДИ

Конец осени, предзимье — самое скучное время для деревенских ребят. Дни становятся все короче, но для нас они тянутся бесконечно долго. Непогода загнала всех в избы, где с утра до вечера стоит унылый полумрак. На околице слякоть, грязь, пронизывающий ветер. Пойдет дождь — сейчас же превратится в снег, запорошит снег — и тут же тает. Все с нетерпением ждут настоящих морозов, зимы.

По первопутку в деревню приходят и первые гости — захожие мастеровые люди. Из этих людей я боялся только цыган да коновалов, особенно коновалов, которые ходили опутанные какими-то ремнями, обвешанные железками, пахли сукровицей, сулемой и все спрашивали: не надо ли кому бросить кровь?

Самый страшный из всех коновалов был Максим Тверской. Большой, черный, с жесткой кучерявой бородой, с кирпичным лицом и длинными, узловатыми руками, он, в своем кургузом полушубке, покрытом заскорузлыми пятнами крови, походил на сказочного разбойника. Когда за ним увязывались ребятишки, он делал страшные глаза и кричал хриплым голосом: «Кыш, стригунки, а то сейчас слегчаю».

Отец говорил, что Максим толковее и покладистее всех других коновалов, что у него легкая рука и скотина после него почти не болеет, но я все равно не решался подходить к нему близко.

То ли дело портные! Их приход в дом означал, что к рождественским праздникам, к святкам у всех появятся обновки.

Семья у нас была большая, и портные заживались по целым неделям. Новую одежду из дубленых овчин

и домотканого сукна шили только старшим, а нам, детям, выкраивали из старья. Но нас радовало и это. Начинали обшивку обычно с хозяек и девушек-невест. Но кому бы и что бы ни шили, мне всегда было интересно смотреть, как уверенно портные расчерчивают овчины мелом, как ловко орудуют ножницами и иголкой, как старательно, держа иголку в зубах, примеривают схваченную на живую нитку одежду, обдергивают ее спереди и сзади, натуго запахивают полы, прилаживают опушку.

А главное, как выпрямляется и красивеет человек в новой одежде, если она даже самая простая — овчинная шуба или пиджак из серого домотканого сукна, зипун из крашенины или собранный из старья пегий тулупчик.

Но не меньше, чем ожидание обновки, волновали меня и те разговоры, что велись вокруг стола, за которым работали портные. Сколько удивительных небылиц и еще более удивительных былей рассказывалось там за один только вечер!

Ходя весь век из деревни в деревню, со двора во двор, чего только не насмотрелись и не наслышались старики портные, звавшиеся у нас швецами!

Но вот что я заметил уже в детстве и что потом поражало меня: настоящие, хорошие портные никогда не выносили сор из той избы, где они работали, не разносили никаких сплетен. Видимо, у них это был неписаный закон, выработанный еще дедами и прадедами.

— Ври сколько хочешь, а добрых людей не позорь,— говорили старые швецы.

Поэтому они со спокойной душой могли каждую зиму заходить к одним и тем же хозяевам. И умные хозяева брали только знакомых портных. А если уж те не приходили в положенный срок — значит, с ними что-то неладно, кто-нибудь заболел либо случилось какое другое несчастье в дому.

Бабы считали всех стариков портных чуть ли не колдунами, которые могут зло подшутить над не понравившимися им хозяевами, поэтому всячески угождали им.

Тетка Сорочка рассказывала, что один швец, давно уже не появлявшийся в наших местах, сам похвалялся

ей, как однажды скупому хозяину, все время ворчавшему на его работу, он накликал вечером целую стаю волков. Вся семья с перепугу забилась на полати, а хозяин забрался в подклеть и оттуда уже попросил у него прощения, боясь, что волки останутся в избе на всю ночь.

Смилостивившись над подобревшим сразу хозяином, швец махнул рукой, и волки исчезли, остался только запах псины. Другому мужику, по ее словам, тот же швец напустил в избу столько воды, что она едва-едва не залила печку.

Мне очень хотелось посмотреть на такие чудеса, но мой отец никогда не ссорился с портными, а попросить их устроить что-нибудь подобное ради шутки я не решался. Боялся рассердить отца.

После портных приходили шорники, но они так долго, как портные, в дому не заживались. Посидят денек-другой, сделают хомут, починят шлею, сошьют две-три уздечки и уходят. К ним и привыкнуть не успеешь.

О коновалах у нас говорили, что они приносят весну. Эти заходили в избу только мельком. Возились в хлевах с хряками и баранчиками, а возвращались оттуда с окровавленными руками, и я старался не встречаться с ними.

С началом полевых работ все захожие мастеровые люди исчезали до осени. Только нищих можно было встретить в любое время года. Бродили они целыми ватагами — слепцы отдельно, калеки отдельно. Поодиночке ходили только свои, местные, безродные старики да еще дурачки. Дурачков бабы считали почему-то божьими людьми и жалели их даже больше, чем калек. Но у меня эти гугнявые, неряшливые мужики с бычьими затылками вызывали не жалость, а отвращение.

В нашу деревню заходили два таких дурачка — Саша Покиничский и Сема Чепеницкий. Друг с другом они старались не встречаться, а если встречались на одной дорожке— между ними тут же возникала драка. Дрались они остервенело, до тех пор, пока кто-нибудь из них не падал замертво. И развести их было невозможно.

Реже, чем эти двое, заходил к нам Ефим Мирошенков, но он был совсем не похож на обычных дурачков.

Про него говорили, что он зачитался. Воспитывался Ефим, как рассказывали, в семье вдовца, священника из соседнего села, которому, вероятно, был побочным сыном. Кончил учительскую семинарию, поступил на стипендию в педагогический институт и тут вдруг рехнулся. Как и почему это случилось — никто в точности не знал. Известно было только одно, что воспитавший его священник от него отказался. Может быть, и молву о том, что он зачитался, пустил сам священник, у которого в это время появилась новая, молодая экономка.

И пошел Ефим по миру, но, в отличие от других нищих, милостыни не собирал. У него не было даже сумы. Он довольствовался тем, что где-нибудь его покормят, где-нибудь дадут смену белья, заношенный пиджак. Тихий, со всеми ласковый, благообразный и в отрепьях, Ефим в каждой избе был желанным гостем, в нашей же семье его всегда принимали как родного, и он охотно оставался у нас ночевать.

В светлые минуты он рассказывал мужикам о том, как живут люди в далеких странах, толково объяснял школьникам уроки, решал мгновенно самые трудные задачи, а потом начинал вдруг заговариваться и заводил такие речи, которые уже никто понять не мог.

Я всегда с замирающим сердцем слушал даже эти непонятные его речи, из которых я сейчас, конечно, не помню ни одного слова, но от которых у меня и до сих пор сохранилось ощущение какой-то нечеловеческой тревоги, тоски и боли. Может быть, меня гипнотизировали его большие, печальные глаза на таком простом и таком добром лице.

Когда Ефим уходил, мать говорила мне:

— Смотри, сынок, подрастешь, станешь учиться, не сиди день и ночь с книжкой, а то зачитаешься, станешь вот таким, как Ефим.

— А ты не беспокойся,— отвечал ей за меня отец.— У нас, мужиков, головы крепкие. Мы не зачитаемся.

Спорить с отцом мать не решалась, но в душе, наверно, благодарила бога, что надоумил ее взять дочку из высшего начального училища.

СВАТ АБРАМ И КУМАНЕК НОТКА

Время от времени, но не реже чем раз в два месяца у нас в деревне появлялись евреи-тряпичники — Абрам со своим сыном Ицкой и Нотка с сыном Борисом, торговавшие с возов всякой всячиной, начиная с иголок и костяных пуговиц, стеклянных бус и ярких лент, кончая дешевыми наборными шапками и пошитыми из перелицованного старья картузами. Все это можно было приобрести у них в обмен на щетину, льняные очески, тряпки.

Их приезд был праздником для всех: для баб, которые запасались у них всем необходимым по своему обиходу, для девок, которым и ленточка была обновкой, особенно же для нас, ребятишек, кому было интересно все, что нарушало привычный распорядок деревенской жизни.

Мужикам у них покупать было нечего, так как ни Абрам, ни Нотка настоящими хозяйственными товарами не торговали, но зато они привозили всегда кучу новостей, заменяли собой газеты, которых в деревне почти не было. Поэтому мужики их ждали не меньше, чем бабы, и, если они долго не приезжали, начинали поговаривать:

— Что-то сват Абрам долго не едет, да и кум Нотка где-то запропал.

Абрам был степенный, сухощавый старик, знавший в деревне по имени и отчеству каждого мужика и осведомленный о всех хозяйственных делах и жизненных обстоятельствах каждого двора. С бабами торговаться он не любил, предоставляя это дело своему Ицке. В разговоры вступал только с самыми основательными хозяевами. Завидев кого-нибудь из них, он останавливал своего пегого, удивительно спокойного мерина и спрашивал:

— Ну как, Захар Иванович, обменял свою кобылку? Если нет, так пришлю к тебе знакомого цыгана, у него есть добрый конек.

Другому Абрам сообщал, что в не столь отдаленной деревне насмотрел для него хорошую корову, такую корову, которая у доброго хозяина будет давать летом не меньше трех ведер молока за день. По его совету

мужики спокойно совершали самые разнообразные хозяйственные сделки — меняли лошадей, покупали коров, продавали наворованный в казенной даче лес, нанимали колодезников, и никогда потом не раскаивались в своем доверии к нему. Именно поэтому его звали все сватом.

Нотка был помоложе Абрама и имел более общительный характер. Вступал в разговоры с любым встречным, весело и как-то совсем необидно переругивался со своими шумливыми покупательницами. В хозяйственные дела их он вникать не старался, но зато знал все деревенские сплетни. За это его, в отличие от Абрама, называли куманьком.

Если Нотке случалось летом заночевать у нас в деревне, он охотно разрешал своему Борису вести с ребятами в ночное чалого, шустрого конька, чего Абрам никогда не разрешал своему Ицке. Впрочем, Борис не только ездил в ночное, но и ходил на деревенские вечеринки, а тайком от отца не отказывался даже есть сало и хлебать с нами из одной миски, что, как мы знали, строжайше запрещалось еврейским законом. Нотка, вероятно, догадывался о проделках сына, нарушающего закон отцов, но смотрел на них сквозь пальцы. Входя в избу, делал вид, что не замечает, как Борис, выскакивая из-за стола, вытирает губы, маслянисто блестевшие. Если ему предлагали выпить и подносили стаканчик, он никогда не отказывался, но за общий стол все-таки не садился, пил стоя, закусывая круто посоленным хлебом и луковицей. Абрам строго осуждал за все это Нотку.

— У вас свой закон, у нас — свой,— говорил он моему отцу.— Чей лучше — мы не знаем и знать не можем. Так жили наши отцы, деды и прадеды, так живем мы, так должны жить наши дети, внуки и правнуки. Человек отличается от дикого зверя тем, что он соблюдает свой закон и не мешает другому соблюдать свой. Если этого не станет, то человек будет уже не человеком, а безрогой скотиной.

Нотка же, в свою очередь, не одобрял старозаветной строгости Абрама, хотя, видимо, побаивался его. В пререкания с ним он никогда не вступал, а выслушав его ворчливые поучения, пожимал плечами:

— Подумаешь, какой великий грех совершил его бедный мальчик, посидев за одним столом со своими русскими приятелями и похлебав с ними из одной миски молока. Дай бог, чтобы у него всю жизнь только такие грехи на душе и были.

Появлялись они у нас всегда в разное время, чтобы не мешать друг другу, а если случайно встречались, то один из них сразу уезжал в другую деревню. С моим отцом они дружили оба и часто оставались ночевать у нас — то один, то другой. В такие вечера к нам собирались все соседи поговорить с бывалыми людьми, послушать новости.

Мужики обыкновенно располагались на корточках на полу, а Абрам сидел, как гость, на скамейке под светцом с дымящей лучиной. Упершись острыми локтями в колени и покачивая седобородой головой, говорил нараспев:

— Ой, люди добрые, люди добрые. Зашатался белый свет. Вся земля колышется. Не хотят больше люди жить по старому закону. Ищут нового. А какой он будет, новый закон, никому не известно.

— Да, уж наверно, хуже старого не будет,— замечал кто-нибудь из мужиков.— Хуже быть некуда. А нам хоть какое ни на есть облегчение должно ж быть.

— Ой, дай-то бог, дай-то бог,— покачивал головой Абрам.— Я езжу по своему уезду уже больше сорока лет, а не вижу, чтоб людям легче стало жить... Совсем не вижу. Может, глаза у меня такие стали под старость...

Нотка привозил более обнадеживающие новости. Он рассказывал, что по всему уезду помещики начинали распродавать свои имения, боятся, как бы не вернулся пятый год и не пошел гулять красный петух.

Я мало что понимал в этих разговорах, но слушал, о чем говорят взрослые, внимательно и замечал, что, когда заходила речь о красном петухе, мужики многозначительно переглядывались, подмигивали друг другу, усмехаясь в бороды, дескать, мы знаем, что знаем.

Сидели допоздна. В избе под конец вечера становилось уже нечем дышать от дыма лучины и дешевого

табака, приходилось открывать не только вьюшки в трубе, но и дверь в сени.

Я не ложился в постель до тех пор, пока не расходились все до последнего человека, а потом спрашивал у отца: что это за страшный красный петух, которого так боятся господа? Отец притворно сердился и щипал меня за ухо:

— Рано еще тебе о красном петухе думать, цыпленок. Ну-ка, марш на насест!

А Нотка, чтобы утешить меня и заставить забыть о красном петухе, доставал из кармана длинную, завернутую в цветную бумажку конфетку с кистями на концах. Конфетку я прятал, но о петухе не забывал. Он снился мне потом не одну ночь.

Никаких сколько-нибудь серьезных недоразумений с нашими мужиками ни у Абрама, ни у Нотки никогда не было. Только однажды самый забубенный мужик — печник Михайла Игнатов, подпоенный лавочником из соседней деревни,— пристал к Абраму, требуя, чтобы тот предъявил ему свои права, то есть разрешение на торговлю в нашей местности, которая не входила в черту еврейской оседлости.

Вероятно, таких прав у Абрама не было, и он, чтобы отделаться от Михайлы, сунул ему рубль на водку, но подоспевшие соседи заставили не в меру ретивого печника вернуть деньги, а самого его до вытрезвления заперли в общественный амбар — магазею.

Проспавшись, Михайла прибежал к моему отцу и стал уверять его, что ничего плохого он не собирался делать Абраму, а просто хотел по выпитому делу попугать его для смеху.

— Хорош смех,— отвечал отец,— нечего сказать. До того перепугал человека, что тот, может, последний целковый отдал! А теперь на весь уезд ославит нашу деревню. Скажет: вот какие в Ломне мужики! Стыдно так обижать человека. Ведь ему-то и пожаловаться некому.

— Ладно, я помирюсь с ним,— пообещал Михайла.

И впрямь, как только в следующий раз приехал в деревню Абрам, Михайла остановил его посреди деревни и даже снял перед ним шапку.

— Прости, сваток. Я, пьяный, дурак бываю.

— Что пьяный ты бываешь дураком — это полбеды,— отвечал под сочувственный смех собравшихся мужиков Абрам.— Беда, если ты и трезвым такой же будешь...

Михайла не нашел даже, что ответить. Сплюнул себе под ноги, нахлобучил шапку и поспешно удалился. Больше к Абраму он уже не привязывался.

ПИТЕРСКИЕ, ЮЗОВСКИЕ И ГУБОНИНСКИЕ

Слова свата Абрама о том, что мир зашатался, вспоминались в разговорах мужиков все чаще, особенно после того, как в деревню на летние месяцы приезжала ушедшая в город молодежь.

Отходничеством у нас занимались издавна. Осенью, после завершения полевых работ, из деревни не менее половины взрослого мужского населения отправлялось в лес. У кого были покрепче лошади — извозничали, вывозили на станцию швырок и шпалы, остальные работали на ближайшем лесопильном заводе. К весне почти все возвращались домой, стараясь не запускать хоть плохонького, но своего хозяйства, не отрываться насовсем от дедовского и отцовского корня. Теперь же в поисках постоянной работы молодежь тянулась все дальше и дальше — в города, на большие заводы.

Прежде всего хлынули в Губонино, где разрастался бежицкий вагоностроительный завод Брянского акционерного общества, одним из заправил которого был миллионер Губонин. Те, кому не удавалось устроиться там, подавались еще дальше — на юг, одни — в Екатеринославль, другие, более отчаянные,— на шахты в Юзовку и Макеевку. И только немногие грамотные парни отваживались ехать в Питер, где получить работу было гораздо труднее, чем в других местах.

По какому-то неписаному земляческому закону все уехавшие из окрестных деревень брали у себя на заводах отпуска в одно и то же время — обычно перед сенокосом.

Мы, ребятишки, по одному виду сразу отличали питерских от губонинских, губонинских — от юзовских

и макеевских, которых называли шахтерней. Питерские вели себя с большим достоинством, ходили с тросточками, носили шляпы, а некоторые даже и галстуки. Пили мало и только в хорошей компании, дома или у родственников и друзей.

Губонинские мало чем различались с нашими деревенскими парнями, только носили не картузы, а кепки, не холщовые рубахи, а ситцевые косоворотки. Приехав домой, они тот же час принимались за крестьянскую работу и сразу входили в ровную колею хозяйственной деревенской жизни.

Шахтеры появлялись всегда в ярких рубашках и широких, заправленных в лаковые сапоги штанах. У каждого непременно была гармоника и непременно с бубенцами. С их приездом деревня целую неделю стоном стонала от рева гармоник и хмельных залихватских песен. Пили шахтеры везде: и дома, и у соседей, и у дверей монопольки. Поили на скопленные за год под землей деньги всех, кто попадался на глаза, щедро угощали и друзей и недругов, чтобы покрасоваться перед земляками, утереть нос богачам. Богатые мужики сторонились их, побаивались даже встречаться с ними, когда они, подгуляв, проходили шумливой толпой по широкой деревенской улице, наяривая под гармонику свою любимую песню «Шахтеры».

Песня эта, говоря теперешним языком, была весьма самокритична. Более горькой и более обнаженной правды о шахтерской вольнице, как я теперь понимаю, не могли бы сказать даже самые злые недруги ее. Однако по всему строю песни чувствовалось, что сложена она могла быть только самими шахтерами, которые еще не совсем, не до конца порвали с деревней и судили себя, свою жизнь по законам патриархальной крестьянской морали:

Шахтер пашенки не пашет,
Косы в руки не берет,
Косы в руки не берет.
Что заробит — все пропьет,
Что заробит — все пропьет.
Девок любит, женку бьет,
Девок любит, женку бьет,
Под землей подкоп ведет.

Казалось бы, что дальше в самоосуждении идти уже некуда, но в том-то и дело, что в песне звучало и нечто другое, что выражалось в недвусмысленной угрозе по адресу деревенских, да и не одних деревенских, богачей, выгнавших их из родных гнезд:

Я любому богачу
Набок скулы сворочу.

Что это не пустая угроза, не озорное молодечество, знали у нас хорошо, так как несколько лет назад на свадьбе у одного из шахтеров был убит мельник из соседнего села, по прозвищу «Ветродуй». Мой отец, тоже гулявший на этой свадьбе, потом рассказывал, что, когда подвыпили друзья жениха, они вдруг вместо обычных свадебных песен запели:

Отречемся от серого мыла,
Перестанем мы в баню ходить.

Ветродуй — здоровенный мужик, крестившийся пудовыми гирями, известный по всей округе своей задиристостью, видимо, знал настоящие, неперелицованные слова крамольной песни и полез на шахтеров с кулаками, грозя отправить всех смутьянов к становому приставу. Завязалась драка, во время которой его и «уходили».

Дело могло принять весьма опасный, «политический» характер, но отец уговорил одного из участников драки, нашего соседа Федота Уточку, скромного деревенского парня, сироту, грамотея, любимца сельских учителей, совершенно случайно попавшего на свадьбу, взять всю вину на себя, сказать на суде, что драку начал сильно захмелевший Ветродуй с ним из-за какой-то старой ссоры на мельнице. Это могло показаться убедительным хотя бы потому, что Уточка действительно первый подвернулся под руку Ветродую и тот свернул ему скулу. В таком случае дело оказывалось обычной пьяной дракой, убийство в которой было простой случайностью и каралось не так строго.

Я этой истории не помню, знаю ее только по рассказам старших, но зато я хорошо помню, как Уточка вер-

нулся после отсидки из острога. Его старший брат незадолго до этого переселился с семьей в Сибирь, и он некоторое время жил у нас.

Я уже слышал, за что он сидел в тюрьме, и в первое время дичился его, но он оказался таким ласковым, так хорошо рисовал и делал такие занятные игрушки, что я вскоре подружился с ним и готов был драться со всеми ребятишками на улице, которые называли его острожником и убийцей. Отцу моему Уточка не раз говорил при мне, что из тюрьмы он вернулся совсем другим человеком.

— Пошел я туда, чтобы только выручить товарищей, а там уж и в самом деле отрекся от старого мира и возненавидел царский чертог. Теперь так глупо рисковать собой не буду, а если опять попаду в тюрьму — так попаду за настоящее дело.

Вскоре Уточка уехал от нас к брату в Сибирь, и я о нем больше ничего не слышал. А юзовские и макеевские приезжали в деревню все более злые. Пили меньше и пели уже не «Шахтеры», а ту самую песню, из-за которой когда-то полез в драку Ветродуй и сел в острог Уточка:

Отречемся от серого мыла,
Перестанем мы в баню ходить.

Мы, ребятишки, настоящих слов, конечно, не знали, а эти нас очень смешили. Ну, зачем им понадобилось отрекаться от мыла и переставать ходить в баню? Неужто это им так мешает на их кротовой работе? Когда я попробовал расспросить отца, он только цыкнул на меня. Теперь отец дружил больше с питерскими, которые привозили с собой и приносили к нам какие-то газеты и книжки. Книжки, как я успел заметить, были все не стоящие внимания, без картинок, и отец читал их почему-то не дома, а в пуньке, где он любил летом отдыхать и куда иногда брал меня с собой.

— Про что тут написано? — спрашивал я, когда мне надоедало смотреть, как он, подергивая усами, листает серые, шершавые страницы.

— Так, про разные разности,— отвечал отец, не отрываясь от книжки.

— А какие это бывают разные разности? — не унимался я.

— Разные разности, брат, это вроде крапивы жигучки, когда ее тебе напихают в штаны. Понял? Ну, то-то.

Я не особенно понимал, но слова о крапиве, которая обильно росла возле пуньки, отбивали охоту задавать вопросы, на которые отец почему-то не хотел отвечать.

СКАЗКА КОНЧАЕТСЯ

В нашей семье, как и во всей нашей деревне, издавна был заведен такой порядок, что в любое время года и в любую погоду каждую субботу непременно топили баню. Во всем году было только две субботы, когда нарушался этот порядок, — на масленой и на страстной неделе. На масленой в субботу был самый разгар веселья — до поздней ночи катались с гор все, кто держался на ногах. В воскресенье мужики ходили друг к другу просить прощения за вольно или невольно нанесенные в году обиды, а в баню «смывать грехи» шли в первый день великого поста, в «чистый понедельник».

На страстной баню топили в «чистый четверг», когда, как говорили, и ворон купает своих воронят, а в субботу шли в ближайшее село ко всенощной слушать «страсти господни» и святить куличи.

Других исключений не допускалось даже в самую горячую пору — во время сева, в сенокос и жнитво. В этот день старались управиться с полевыми работами пораньше, а одна из женщин, чей черед был топить баню, оставалась дома сразу после полуден. Бани стояли особым порядком в стороне от жилых строений, по берегу речки, на лугу, где бабы весной белили вытканные за зиму холсты.

Топились они по-курному, а воду нагревали в больших дубовых кадках, опуская в них раскаленные в печке добела камни. Я любил эти субботние дни больше, чем праздники, и, когда очередь топить баню выпадала моей матери, не отставал от нее ни на одну минуту. Мне нравилось в бане все, и я мог часами сидеть на пороге предбанника, не обращая внимания на выедаю-

щий глаза дым, и следить сквозь слезы, как накаливаются в печке камни, слушать, как они шипят и стреляют, когда мать опускает их в воду. И вот наконец все готово. В печке догорают синими огоньками последние угли, мать опускает в кадку свежий березовый веник, подметает пол.

— Ну, ступай скажи отцу, чтобы собирался,— говорит она мне, утирая пот. И я опрометью бегу домой.

Но однажды — это было поздней весной — матери дотопить баню не дали. Прибежала старшая сестра и что-то шепнула ей на ухо. Мать вздохнула, перекрестилась и торопливо вышла из бани, на ходу вытирая фартуком глаза.

— Куда это она? — почему-то шепотом спрашиваю я сестру, когда мать скрывается в проулке.

— Молчи,— так же шепотом отвечает сестра и, помолчав немного, с таинственным видом сообщает: — Старая бабка Катерина помирает. Только ты не ходи туда. Отец не велел...

Услышав это, я сразу же вспомнил, что говорил мне сосед Прокоп — дегтярное брюхо, как умирают ведьмы. Нет, я никак не мог упустить такого случая — иметь бабку-ведьму и не посмотреть, как черт сквозь хомутину будет тащить ее душу через поднятую потолочину! Да меня ж после этого все ребята засмеют, а Прокоп назовет трусом!

Улучив минуту, когда сестра стала вытаскивать железным совком из печки раскаленные камни, я шмыгнул из предбанника.

Вбежав, запыхавшись, в старую избу, где умирала бабка Катерина, я первым долгом окинул взглядом потолок. Там было все на месте. Ни одной поднятой потолочины я не заметил. «Ну, значит, еще не время,— решил я.— Теперь никуда не уйду отсюда, дождусь...»

В старой избе было необычно людно. Кроме бабки Марьи и моей матери, там теперь собрались тетка Даруся, бабка Глушка, Танька Сорочка и несколько соседок-старух.

У кивота, как всегда, горели лампадки. Все женщины зачем-то держали в руках зажженные свечки. Такая же свечка была и у бабки Катерины, которая мне

совсем не показалась умирающей. Она даже не лежала, как обычно, а полусидела, опершись на подушки. Глядя прямо перед собой, она говорила, медленно перебирая слова:

— Тебе, Марья, и тебе, Агаша, я ничего не отказываю. У вас своего всего хватит. Вам я оставляю мое нерушимое благословение. Дочке Акулине отдайте мой большой кубел. У нее детей много, а мужик недоступок. Ты, Дарья, возьмешь себе другой кубел, что поменьше. В третьем кубле лежит мое смертное. Там и холстина на покрывало и рушники, гроб нести. Что в этом кубле останется — все отдайте нищим. Тебе, Лукерья, я отказываю всю свою верхнюю одежду. Она не по плечу тебе, да как-нибудь переделаешь, доносишь... Тебе, Татьяна...

Я стоял позади матери, ухватившись за ее сарафан, и весь дрожал от любопытства и страха: что же будет дальше, когда же начнется? Бабка Марья неодобрительно взглянула на меня и указала глазами на дверь, но я не двинулся с места.

Вдруг дверь тихонечко скрипнула.

«Ну, начинается»,— подумал я, похолодев всем телом, и оглянулся.

На пороге стоял отец. Увидев меня, он сердито кашлянул в кулак:

— Ты зачем здесь?

Я не успел ему ответить, как его заметила бабка Катерина.

— Это ты, Ваня? Подойди, я благословлю тебя...

Отец, ни на кого не глядя, подошел к ней и опустился на колени:

— Прости, если в чем досадил.

Бабка Катерина три раза перекрестила его.

— Бог с тобой, Ваня. За что ж мне тебя прощать? Это я должна у всех просить прощения, что зажилась на этом свете. Пора и честь знать. Вот, слава богу, до весны дожила. Земля теперь мягкая, теплая, она ласково примет мои косточки. А ты, смотри, не обижай тут Агашу. Она у тебя сильно рахманая. Ее легко обидеть. Да и за Павликом приглядывай. Он что малое дите, хоть и сам детей нажил. Ну, ступай, ступай. У нас тут свои, бабьи, дела остались.

Отец поцеловал ее в щеку и широко перекрестился на образ. Что-то шепнув матери на ухо, он взял меня в охапку и унес в жилую избу.

— Нечего тебе там делать. Сейчас пойдем в баню. Бабы без нас тут управятся. Они принимают человека, когда он родится, они же и провожают, когда умирает... Мы, мужики, этого делать не умеем. Наше дело о жизни думать...

Возвращаясь из бани, мы еще издали услышали причитания собравшихся к нам во двор старух, и я понял, что все кончилось. Бабка Катерина умерла без меня. Ее уже обмыли и обрядили в последний путь. Теперь благообразное лицо ее было спокойно и совсем не строго. Большие, натруженные за долгую жизнь руки тяжело лежали на груди.

У изголовья покойницы сидела бабка Глушка и говорила, то и дело вытирая глаза кончиком головного платка:

— Ну что ж, Катерина, отдыхай, родимая, царство тебе небесное. Ты все свои дела переделала, лежишь, как с поля убралась, нарядная, спокойная. И детей и внуков вырастила, и правнуков дождалась. Теперь и без тебя есть кому за ними приглядывать... Теперь все твое с тобой...

И, может быть, в эту минуту, слушая бабку Глушку, я впервые смутно почувствовал, что совсем покойница не заживала чужой век, а сама всю жизнь свою отдала другим. И детское сердце мое, не знавшее еще настоящей печали, вдруг наполнилось жалостью к этой, еще недавно страшной для меня старухе, которую завтра зароют в землю, и я ее больше не увижу. И мне стало до слез стыдно, что я ни разу не приласкался к ней. Захотелось хоть сейчас прижаться к ее руке. Но она же теперь мертвая... Подумав об этом, я почувствовал, как по спине у меня побежали мурашки, и опрометью бросился в сени, во двор, на вольный воздух...

Хоронили бабку Катерину в какой-то большой весенний праздник, чуть ли не на вознесенье. Погода, как я до сих пор помню, была чудесная, какой, по народному поверью, никак не могло быть в день похорон ведьмы. Цвели сады, и вся дорога была усыпана бело-

розовыми лепестками яблонь. Лепестки падали и на открытый гроб, когда его проносили по деревенской улице, на лицо и руки покойницы.

Видя это, провожавшие ее соседки вздыхали и крестились, шептали, что дай бог каждому такие похороны. Они уже решили, что покойница была, наверно, не злой, а доброй ведуньей, только помогала, а не вредила людям.

На этом все успокоились, успокоился и я. Даже Прокоп — дегтярное брюхо больше не приставал ко мне со своими расспросами.

Это было в конце весны, а летом началась война, и сказка моего детства кончилась.



ПОВЕСТЬ



Мне четырнадцать лет.
Через месяц мне будет пятнадцать.
Эти дни, как дневник.
В них читаешь,
Открыв наугад.

Борис Пастернак

Был у меня на пороге юности один год, о котором я до сих пор вспоминаю с чувством глубокой и нежной благодарности, хотя ничего особенного со мной тогда не произошло. Просто я с небывалой дотоле остротой ощутил всю трепетную красоту окружающего меня мира, как будто до этого я долго шел по узкой стежке, среди высоких густых зарослей, скрывавших от меня горизонт, и вдруг выбрался на опушку, к большой дороге, и захлебнулся от хлынувшего в душу простора.

Перед этим закрылась Тюнинская школа второй ступени, где я учился, а вместо нее там же открылся педагогический техникум. Два класса второй ступени, которые я успел окончить, приравнивались к семилетке и давали право поступать в техникум, но я этого сделать не мог. По семейным обстоятельствам мне пришлось прервать учение.

Вместе со своим маленьким братом я жил тогда в семье дядьки Павла, опекавшего нас после смерти на-

ших родителей. Я знал, что моя мать, умирая, взяла с деверя слово, что он не оставит меня и даст мне возможность учиться. Знал также, что в этом она выполняла волю умершего года за три до нее отца. Мне она сама не раз говорила об отцовском наказе. Я старался не огорчать ее, но при ней не успел окончить даже начальной школы. Свела ее в могилу какая-то пустяковая болезнь, что-то вроде теперешнего гриппа, а вернее всего, как судили соседки и как теперь думаю я сам, неизбывная вдовья тоска.

В деревне никогда не ограждали детей от зрелища печального обряда похорон. Как и все мои сверстники, я встречал их в детстве со смешанным чувством любопытства и страха и очень скоро забывал о них.

Похорон отца я не видел. Он умер вдалеке от родной деревни. Похороны матери запомнил на всю жизнь. Ее смерть потрясла все мое существо.

При жизни отца я относился к ней так же, как днем относятся к солнцу, летом к теплу.

Что такое мать, я понял только после смерти отца. Но вот не стало и ее.

Ударивший о крышку гроба первый ком земли оглушил меня. С кладбища я вернулся какой-то потерянный. Днем не замечал ничего вокруг, а ночью меня мучили страшные сны.

Мне являлась мать, ласкала, звала с собой, но я ни на одно мгновение не забывал, что она мертвая. И как мне ни одиноко было без нее здесь, на зеленой и теплой земле, я ни за что не хотел даже с матерью идти в землю, во мрак. Если она брала меня за руку, я вырывался и кричал не своим голосом. Просыпался в холодном поту.

Однажды, вконец измучившись и сгорая от стыда за свое малодушие, я рассказал все ближайшей нашей соседке тетке Сорочке. Та ласково пожурила меня:

— Дурачок ты, дурачок! Ну как же можно бояться своей матери, хоть она и мертвая. Ты ж знаешь, как она любила тебя. А страшные сны тебе снятся потому, что ты растешь.

После этого я немножко образумился и сны перестали мучить меня. Я почувствовал неутолимую жаж-

ду жить. И мать я видел уже не мертвую, а живую, такую, какой она была в самые счастливые свои дни, в лучшую пору моего детства, какой я вспоминаю ее до сих пор — любящую, немногословную, самозабвенно преданную семье, детям.

В школу я ходил мимо кладбища, и оно уже не пугало меня.

Ученье мне давалось легко, и я пять классов окончил за четыре года. Ближайшая школа второй ступени была в селе Тюнине, за двенадцать верст от нашей деревни. И я поступил туда.

Обещанье, данное умирающему человеку, всегда считалось нерушимым, и дядька Павел искренне старался сдержать свое слово. Но жена его, тетка Пелагея, не считала себя связанной его словом. Для нее я был обузой, лишним ртом в семье. Она даже не находила нужным скрывать этого от меня.

Ее собственные дети дальше четырех классов начальной школы не пошли, да она и не понуждала их учиться, на меня же приходилось делать лишние траты. А тут как раз случился неурожай, и дядьке Павлу волей-неволей пришлось оставить меня дома. Стипендии в педагогических техникумах, расположенных в сельской местности, в то время не давали.

Осенью я первое время сильно скучал, оторванный от школьных товарищей. Перед своими деревенскими сверстниками я тоже чувствовал себя неловко, словно в чем обманул их, не оправдал возлагавшихся ими на меня надежд, взялся за дело, которое оказалось мне не по плечу.

По вечерам я занимался со своим маленьким братом: помогал готовить уроки, объяснял трудные для него арифметические задачи, учил пересказывать своими словами прочитанное, запоминать наизусть стихи.

Ему шел десятый год, и он уже многое понимал. Видел, что я хожу сам не свой, и старался как мог утешить меня, отвлечь от грустных мыслей.

Меня до слез трогала его ласковая привязанность ко мне, даже его неумение скрыть свою радость от того, что я всю зиму буду с ним, но я не мог не видеть, что у него появляются уже какие-то свои интересы,

свои радости и огорчения. Подготовив со мной уроки, он тут же бежал на улицу, к своим друзьям-ровесникам, у которых был заводилой и которые поэтому называли его, как взрослого, Афанасием Ивановичем. И у меня не хватало духу удерживать его возле себя, лишать его маленьких ребячьих удовольствий. Чтобы как-нибудь скоротать время, в свободные часы я запоем читал беллетристику. Перечитал все, что попадалось под руку, что нашлось у соседей и знакомых учителей. Тогда же, наверно от одиночества, я начал потихоньку слагать стихи. Они мне заменяли дневник. Наш сосед и дальний родственник Иван Агеев, грамотный мужик, из тех, что повидали свет за околицей, писавший даже корреспонденции о сельских делах в «Крестьянскую газету», пробовал пристрастить меня к охоте, но из его стараний решительно ничего не вышло. Я ходил с ним только до тех пор, пока не увидел, как он добивал подраненного зайца.

Тот, кричавший детским голосом, заяц снился мне несколько ночей подряд. После этого Агееву уже ничем не удавалось сманить меня на охоту, хотя я очень любил ходить по чернотропу среди озаренных разноцветными огнями перелесков.

В конце концов Агеев махнул на меня рукой, сказав: «Чудак человек. Все равно от заячьего крика никуда не уйдешь. Придется привыкать. Если не привыкнешь теперь, потом хуже будет».

Я, конечно, не мог и не хотел так думать.

В самом начале зимы, как только закончились полевые работы и выпал первый снег, моя старая учительница, которой в то время, наверно, не было и тридцати лет, Ольга Михайловна Моисеенкова, организовала школу ликбеза и предложила мне помогать ей обучать грамоте переростков. Надо ли говорить, что я согласился с большим энтузиазмом. Это было как раз то дело, которого мне не хватало. Как и многие мои ровесники, выходившие на новую дорогу подростками, я в то время видел в неграмотности корень чуть ли не всех зол и бед. Мне казалось, что стоит только обучить всех грамоте, как сразу же исчезнет всяческая косность, забудутся все предрассудки и суеверия — словом, преобразится вся жизнь, особенно жизнь деревни.

Неудивительно поэтому, что к первому своему уроку, я готовился как к празднику.

Из всех девушек с нашей улицы отказалась учиться у меня только одна наша соседка и моя большая приятельница Федосья Сорочкина, которая верховодила в наших ребячьих играх, командовала не только девчонками, но и мальчишками.

Летом Федосья пасла со старшими братьями деревенское стадо, и на гулянки ей ходить было некогда, а зимой без нее не обходилась ни одна вечерушка.

— Ну, какой ты, Николка, для меня учитель, если я еще недавно драла тебя за виски,— откровенно сказала она мне.— Разве я стану слушаться такого учителя? Да и ты такой ученице рад не будешь. Лучше уж дай мне букварь да тетрадку с карандашом, а учить меня будет моя подружка Машенька-барыня. Я с ней уже сговорилась. Она хоть и не учительница, а грамоту хорошо знает. Вместе с тобой школу кончила. Читать-писать научит, с меня и хватит.

Я, конечно, не стал спорить с нею. Более того, я был благодарен ей. Ведь она, в сущности, выручила меня. В самом деле, какой я для нее учитель. Под ее насмешливым взглядом я бы каждую минуту терялся на уроке. Пусть уж лучше занимается со своей подружкой.

Получив букварь и тетрадку, Федосья ласково потрепала меня по щеке:

— Ну, вот, умница. Я скажу девчатам, чтоб они не обижали тебя...

Записавшиеся в мою группу девушки сами вымыли нанятую сельсоветом избу и украсили ее гирляндами из еловых лапок. В школе мне дали кое-какие наглядные пособия, а в канцелярии сельсовета несколько плакатов, пылившихся в трубах на шкафу. Можно было приступать к занятиям.

Для начала я выбрал воскресный вечер, чтоб поторжественней было, и сразу же раскаялся в этом. Случилось то, чего я никак не ожидал и не мог предвидеть. В моей группе числилось человек пятнадцать молодежи, и почти все девушки, а на первое занятие народу пришло в два раза больше. Каждая девушка явилась со своим парнем, и все расселись парочками.

Я растерялся и не знал, что делать, с чего начинать, как приступить к занятиям. Парни передо мной сидели, как на подбор, все грамотные, и я чувствовал, что явились они сюда совсем не для того, чтобы помогать своим девушкам усваивать азы. Я понимал, что если им сразу не указать от ворот поворот, то занятия превратятся в обычные посиделки, и никакого толку не будет. Но как заставить их уйти? Ведь вместе с ними могут уйти и девушки?

Выручил меня явившийся как раз в самые критические минуты дружок Ивана Агеева — Лукьян Денисьев, которого и старики и молодые называли попросту Лучкой.

Это был щеголеватый рыжеусый мужик, не потерявший на пашне своей былой солдатской выправки. Во время войны он два раза попадал в плен к немцам и два раза бежал оттуда, в последний раз перед самой революцией.

Вернувшись домой, Лучка, как бездетный, при разделе с братьями не получил ни избы, ни коровы, но зато выговорил себе молодого конька. На этом коньке он с женой натаскал за зиму из казенного леса столько бревен, что большую половину их продал на хлеб, а из остатка, принаняв одного подручного плотника, поставил весной на околице деревни настоящую горницу. Осенью пристроил к избе сарай с поветью, а к следующей весне привел на двор корову.

Любое дело спорилось в его руках.

Я с детства видел в деревне немало работающих людей, но я не знал человека, который бы работал так легко и так весело, как Лучка.

Как мне думается, объяснялось это не столько избытком сил, сколько гордым сознанием, что все на свете подвластно умным человеческим рукам. Может быть, поэтому никакая работа не выматывала его, никакая усталость не сутулила ему плечи. Про него нельзя было сказать, что он жаден на работу. Нет, он любил ее. Ему ничего не стоило бросить свое дело, если нужно помочь соседу.

— Жить надо так, чтоб душа радовалась,— говорил он в дружеской компании.

Теперь Лучка уже «обсеменился», растил двоих де-

тей, но по-прежнему ходил на все вечеринки и давал на них во всех затеях сто очков вперед молодым парням, начинавшим жениховаться. Девушки считали для себя за честь сплясать с ним. А плясал Лучка с таким залихватским молодечеством, что захватывало дух. Особенно любил он пройтись вприсядку, по-кавалерийски. Парни косились на него больше, чем на других «женатиков», приходивших иногда на вечеринки, но и побаивались тоже. А перед его похвалой не мог устоять решительно никто.

Узнав, почему я не начинаю урока, он взял у меня из рук тетрадку со списком и начал выкликать записавшихся девушек. Закончив перекличку, сказал:

— Остальных прошу покинуть класс.

Услышав слово «класс», парни зафыркали, показывая на закопченную печку и чадящую лампу, но Лучка невозмутимо продолжал:

— А кто будет шуметь под окнами, тех я на следующей вечеринке отдеру за уши. Вы меня знаете. Вечеринка состоится после окончания уроков. Все поняли?

— Поняли,— в один голос ответили девушки, и парням ничего уже больше не оставалось, как уйти.

Ушел вслед за ними и Лучка, кивнув мне на ходу:

— А ты не робей, приятель. Будь посмелей. Действуй, как я, и все пойдет, как по уставу.

Я облегченно вздохнул и начал первый в своей жизни урок. Раздал буквари, показал первые буквы и объяснил, как складываются из слогов слова. Девушки слушали внимательно и старательно, с какой-то даже подчеркнутой серьезностью исполняли все, что я от них требовал. Только когда я вызывал кого-нибудь из них, выкликая по фамилии, они прыскали в кулак. Ведь в обычное время они были для меня Машками, Стешками, Палашками.

Для них я был тоже Колей, Колькой, и они не знали, как называть меня тут. По имени-отчеству — смешно, а просто по имени — неудобно. Все-таки на уроке я вроде учителя для них.

Я то и дело вспыхивал от смущения, но урок продолжался, и девушки, гася озорные улыбки, читали по слогам:

— Ба-бы не ра-бы, ра-бы не мы, мы не ра-бы!..

Ребята знали, что Лучка слов на ветер не бросает, и под окнами не топтались, не шумели, но девушки к концу занятий становились все рассеянней, все больше прислушивались не к моим объяснениям, а к шагам за стеной, то удаляющимся, то снова приближающимся голосам.

Ольга Михайловна наставляла меня, что первых уроков затягивать не следует, что к занятиям девушек надо приучать постепенно. И я через полтора часа почувствовал, что девушки устали сидеть, склонившись над букварями, что им становится жалко парней, мерзнущих из-за них на околице.

Взглянув на очень уж медлительные стрелки ходиков, я кое-как закруглился и сказал:

— Ну, на первый раз хватит. Теперь можете веселиться.

— А ты с нами не останешься? — раздались сразу повеселевшие голоса.

— Не хочу вам мешать,— ответил я, натягивая на плечи полушубок.— У вас у всех свои пары.

— Ничего, если останешься, и для тебя найдется пара. Мы кого-нибудь из парней отошьем.

— Да что вы его уговариваете, ему с нами неинтересно...

Стараясь не оглядываться, я почти бегом выскочил в сени, впотьмах нащупал засов на двери, за которой уже нетерпеливо галдели парни. А в избе девушки пели:

Ах ты, Коля-Николай,
Руби дровишки, не гуляй.
Будем банюшку топить,
Будем Колюшку женить.

На следующих занятиях, которые собирались два раза в неделю по «непрядущим дням» — в пятницу и воскресенье, все шло уже заведенным порядком. Девушки приходили без парней, но к концу уроков те являлись обязательно. И каждый раз, уходя, я слышал за собой какую-нибудь озорную частушку, обращенную с явным вызовом ко мне. Иногда мне очень хотелось остаться на вечеринке, но было боязно, что я

сделаю там какую-нибудь смешную глупость и после этого девушки перестанут слушать меня, на занятиях не станет порядка. А оскандалиться перед Ольгой Михайловной мне не хотелось.

Перед Новым годом за мои усердные старания она подарила мне разрозненные тома нивского собрания сочинений Бунина. Это было для меня большой радостью. Стихи его я уже знал, а прозу открыл для себя только в эту зиму. Особенно поразили меня деревенские рассказы, пахнущие полынью межников, ромашковой тишиной полевых дорог, задымленной на овинах соломой ржаных и овсяных ометов.

«Откуда этот барин так хорошо знает крестьянскую жизнь?» — думал я, закрывая книгу, и начинал пристальнее всматриваться в окружающих меня людей.

Развороошенный войной и революцией быт деревни в те годы только-только начинал утрясаться, и в нем на каждом шагу новое соседствовало со старым, отжившим, но еще не отошедшим.

Вернувшиеся с фронта мужики прежде всего начали обстраиваться. Почти все хозяева поставили новые избы, перетрясли хозяйственные постройки — гумна, сараи, амбары. Благо, казенный лес был под рукой, а охранялся он в то время не так уж строго. В лесниках ходили свои люди, и нужно было только взять разрешение на несколько дерев, чтобы спокойно вывезти из лесу на целую избу бревен. Некоторые запасливые мужики строились даже «впрок», и под горкой у речки по нескольку лет гнили срубы, у которых, когда их ставили на место, сразу отваливались углы.

Не одобрял такой жадной запасливости и открыто порицал ее только один человек в деревне — тесть Ивана Агеева Афанасий Васильевич Ломаченков. Он, наверно, лет двадцать пять ходил лесником, получил даже какую-то медаль за усердную охрану леса и старательный присмотр за древонасаждениями, а теперь сам называл себя отставным лешим.

Этот высокий, сухощавый, чуть сутуловатый старик с густой гривой почти не тронутых сединой темных волос, всегда аккуратно расчесанных на прямой пробор, был в деревне приметной фигурой. Два его сына погибли на войне, один на той немецкой, другой на гра-

жданской. Старшая невестка, у которой уже подрастали дети, сразу же после революции отделилась от него, а к младшей он принял в дом зятя. Этим зятем и был Иван Агеев.

Пока жива была старуха — бабка Даруся,— Афанасий Васильевич не бросал своей лесной службы, жил в сторожке, а когда та умерла — его потянуло к людям, и он вернулся в деревню к зятю со снохой, но в хозяйство уже не вмешивался. Летом присматривал за садом, а зимой пестовал внучат и на досуге перечитывал подаренные ему кем-то из старых друзей, ученых-лесоводов, книжки. Из книжек этих мне запомнились две — «Беседы о русском лесе» Дмитрия Кайгородова и томик народных рассказов Льва Толстого.

Именно от него я впервые услышал сказку великого писателя земли русской об Иване-дураке, Семене-воине и Тарасе-брюхане. Я до сих пор вижу, как, подняв на лоб стариковские очки в железной оправе и тыча пальцем куда-то в угол, он произносил последние слова этой сказки: «У кого мозоли на руках — полезай за стол, а у кого нет — тому объедки». Вот. Это сказал не кто-нибудь, а сам граф Лев Николаевич...

И хотя Толстого он всегда называл с графским титулом, но говорил о нем как о своем брате — умственном мужике, который видит на три аршина в землю. Мне кажется, в глубине души он считал, что в графья его Лев Николаевич вышел из мужиков, иначе бы не мог так глубоко смотреть в землю. При всем этом, толстовцем он отнюдь не был и глубоко преклонялся перед всякими учеными людьми, казавшимися ему новыми магами и волшебниками.

Выказывая полное свое доверие к зятю, на сходки Афанасий Васильевич обычно не ходил, но охотно отправлялся туда, если его приглашали как знатока по каким-нибудь лесным делам. И он не пропускал случая отчитать тех запасливых мужиков, у которых гнили возле речки бревна и целые срубы.

— Все эта наша глупая мужицкая жадность,— говорил он, покашливая в бородку.— Та самая жадность, про которую писал граф Лев Николаевич Толстой в своем рассказе «Сколько человеку земли нужно». Она обязательно выйдет боком если не нам, так нашим вну-

кам. С лесом тоже надо обращаться умеючи. Срубить дерево легко, а поди-ка попробуй его вырастить.

— Да кто ж деревья растит! — удивлялись мужики.— Они сами вырастают.

— Вот тут-то и выходит наружу вся наша необразованность,— не скрывая своего превосходства, вскидывал голову Афанасий Васильевич и озирался из-под очков.— Вы знаете, сколько ученые-лесоводы еще в старое время высаживали каждый год в лесных питомниках деревьев? Не знаете? Ну, так я вам могу сказать точно. И что ж вы думаете, это они зря старались, от нечего делать? Мне наш лесничий по секрету говорил, что ежели у нас не возьмутся за ум, то через пятьдесят лет тут негде будет оглоблю вырубить.

Мужики почесывали затылки, соглашались, что действительно, если лес рубить без порядка, то его и в самом деле скоро можно свести совсем на нет, но считали, что наводить порядок в казенном лесу не их забота. К тому же слишком долго они жили в тесных избенках, когда за околицей шумели вековые леса, куда им не было доступу. А теперь власть своя, народная. Она понимает мужицкую нужду и строго не взыщет. «Вот обстроимся как следует, тогда видно будет»,— думал каждый про себя.

До революции у нашей деревни была своя лесная дача, купленная сообща через крестьянский поземельный банк. На плане с гербовой печатью она именовалась «Княжой заказ», а в деревне ее называли «Комитет», видимо, потому, что ею распоряжалось само общество.

Сразу после революции, когда все леса были объявлены государственным достоянием, наш «Комитет» тоже перешел в ведение лесничества. Однако, несмотря на то что этот лесок был ближе, чем казенная дача, и охранялся еще хуже, никто из наших мужиков не срубил в нем ни единого прутика.

Теперь его снова вернули деревне, как «лес местного значения», и он стал называться смешным словом «лэмэзэ», которое у меня почему-то всегда ассоциировалось со словом «рогоза».

Деревня наняла своего лесника, одного из самых «суковатых» мужиков — Сергея Митрушина, человека

медвежьего вида и неподкупной честности. Когда-то он работал на лесопилке где-то под Малоярославцем, и его там прозвали Сергей-тилилей. Работавшие вместе с ним земляки привезли это прозвище и в родную деревню. Я долго не мог понять его смысла, а дело объяснялось очень просто. В нашей деревне, как и во многих местах на Смоленщине, чуть не к каждому слову прибавляли частицу «ти». Наших мужиков в чужих краях дразнили скороговоркой «ти лили, ти не». В языке Сергея Митрушина, видимо, эта особенность сказывалась настолько ярко, что он получил безобидное прозвище «Тилилей». Довольно покладистый в житейских делах, Сергей был совершенно непреклонен там, где дело касалось выполнения взятых им на себя обязательств, хотя бы самых пустяковых. А тут его еще предупредили на сходке:

— Поймаешь в лесу любого из нас — не давай спуску. Кто хочет строиться, пусть ворует бревна где угодно, только не у себя.

И Сергей-тилилей твердо выполнял этот наказ. Порубщиков он пригонял в деревню, а там по каждому такому случаю немедленно собиралась сходка. А кто хоть раз попал на такую сходку, тот предпочитал скорее встретиться в лесу с медведем, чем с Тилилеем.

Бессменным членом сельсовета у нас был сухорукий, после ранения на войне, мужик Захар Однокрылый, сын недавно умершего деревенского правдолюбца и выдумщика Ананьи Васильевича Ломаченкова, про которого еще при жизни рассказывали легенды по всей округе. Захар не унаследовал от отца его оригинального, острого ума, но был человек прямой, бескорыстный и пользовался в деревне большим уважением. Никакой платы от сельсовета ему не полагалось, но наши мужики сами положили ему за работу, как и леснику, двадцать пудов хлеба в год. Это почти обеспечивало его семью, и он мог спокойно заниматься общественными делами.

Постановления сходки Захар считал для себя нерушимым законом и свято охранял интересы деревни. Вместе с Тилилеем он навел в лесу образцовый порядок. Ежегодно в нем вырубалась (кроме сухостоя) только положенная часть прироста. Лесосеки в первую

очередь отводились солдаткам и вдовам, которые не могли разжиться на стороне. Нужды остальных хозяев удовлетворялись по мере возможности, чтобы не сводить своего леса. И все-таки под горкой, возле речки, появлялись все новые и новые срубы...

На отхожие заработки уходило из деревни уже гораздо меньше людей, чем прежде. Теперь было и дома к чему приложить руки. Была земля.

В первое время землю делили и переделяли чуть ли не каждый год. В эти годы из нашей деревни выделилось три поселка, вышедшие на отдаленные «купчие» земли. Первый из них самочинно захватил лучшие луговые угодья. Туда сели самые настырные мужики, тягаться с которыми было бесполезно. Деревня пошумела-пошумела и смирилась, решив по старой пословице: «Что с возу упало, то пропало». Только новый поселок все единодушно стали звать «Волковкой». Второй поселок по общему мирскому приговору занял запольные луга, примыкавшие к лесной казенной даче. Земля там была плохая, песчаная, вся изрытая кротами и покрытая кочкарником, но зато рядом, за речкой, открывалось раздолье для скота. Именно такая, как у нас говорили, «упруга» и прельстила мужиков, привыкших думать о скотине больше, чем о себе. Этот поселок окрестили «Кротовкой». На долю третьего поселка досталась, по соседству с Волковкой, заросшая кустарником пустошь, где приходилось раскорчевывать каждую нивку. Его назвали «Мозолевкой», предрекая жителям не сходящие с ладоней мозоли.

На поселки из деревни выходили либо наиболее предприимчивые из многосемейных мужиков, у кого было кому поработать («руки свои, овсом не кормить»), либо забубенные головушки, которым не жалко было бросить давным-давно выпаханные деревенские селибы, в надежде, что авось на новом месте больше повезет. Благо, земли сразу привалило и она вся вокруг тебя. Однако и там земля не всем давалась в руки.

Вчерашние бедняки и пастухи, не имевшие ни скота, ни семян, ни самого простого крестьянского инвентаря, получив землю, не могли с нею управиться и были вынуждены сдавать ее исполу своим более справным соседям.

Делалось это, конечно, потихоньку, чтобы, упаси боже, не узнали власти. Каждый рассчитывал как-нибудь перебиться и стать полным хозяином своей земли.

Но без скота нет навоза, без навоза нет хлеба, без хлеба нет скота. Это чертово колесо нередко подминало даже работящих мужиков, понадеявшихся только на свою двужильность.

Из трех наших поселков скорее всех, конечно, поднялась Волковка. Пользуясь близостью казенного леса, наиболее оборотистые мужики обстроились в одно лето.

Свежеподнятые залежи, у тех, кто осилил их, давали не виданные в деревне урожаи — до ста пудов с десятины.

Наши бывшие соседи братья Прокопята, отец которых всю жизнь перебивался на выделке овчин с хлеба на квас, уже не думали уезжать в шахты, как делали прежде. Похоронив отца, они не разделились, как другие, а продолжали жить одним домом. Вчерашние шахтеры крепко взялись за землю. Вонючие чаны, где Прокоп квасил овчины, они выбросили за ненадобностью. Теперь закрома их ломились от хлеба, а сараи от клевера. Двор был едва ли не лучшим во всем околотке.

В самом центре поселка не стояла, а красовалась их связь — две большие избы с резными наличниками окон и высоким крыльцом, выкрашенным в два цвета — красный и синий. Хозяиновавшего в доме старшего из Прокопят — Ивана, я знал мало. Он до революции жил в Юзовке с женой и детьми, домой наезжал редко и ненадолго. Зато второй Прокопенок, лупоглазый красавец, озорник и затейник Алексей был у нас частым гостем. Он любил возиться со мной, и, хотя шуточки его оказывались не всегда безобидными, а за повторение услышанных от него побасенок и песенок, которые мать называла срамными, мне сильно попадало от отца, я всегда с нетерпением ожидал его приезда. Вернувшись домой после революции, он стал деятельным участником организованного нашими учителями культурно-просветительного кружка, ставившего в школе почти к каждому празднику спектакли. В тогдашней деревне такие зрелища были в новинку и пользо-

вались громадным успехом. На них ходили все — от стариков до детей.

В этих спектаклях Алексею давались самые трудные роли. Он играл и революционеров-подпольщиков, и жандармов, и красных командиров, и белых офицеров. И играл, как я теперь вспоминаю, достаточно натурально. Иногда накануне спектакля он приходил к нам загримированный и наизусть говорил свою роль, приводя нас, ребятишек, в неистовый восторг. И мне было искренне жаль, что он ушел из нашей деревни. Правда, еще больше мне было жалко, что ушел Филька, мой старший приятель и покровитель.

А на поселке Алексея как подменили. Он до того влез в хозяйство, что перестал участвовать в спектаклях (далеко ходить на репетиции, три версты), и в конце концов ушел совсем из кружка.

— Пора бросить погулюшки, надо о жизни думать,— объяснял он учителям, пытавшимся вернуть его.

Когда я бывал у них в гостях, мой приятель Филька с добродушным хвастовством показывал мне хозяйство своих дядьев — гладких до лоска коней, бочкообразных коров-ведерниц, налитых просвечивающим сквозь кожу розовым жиром кабанов. А я за всем этим видел отрекшегося от самого себя Алексея, и мне было грустно. Бабка Прокопиха потчевала меня салом, блинами с творогом и все время повторяла, крестясь на уставленный иконами угол:

— Слава тебе господи, дождались и мы своего праздника. Теперь каждый, кто не сидит сложа руки, сам себе царь, бог и земский начальник. А если кто не может совладать с землей, пусть отдает ее другим. Нечего сидеть как собака на сене. Вот, к примеру, наши соседи, Лявон с Игнатом. Как были пастухами, так и остались, и земля им совсем ни к чему. Только сорняки разводят.

Я ел двухвершковое сало, пышные гречневые блины и думал о том, что сказали бы Лявон с Игнатом, услышав такие речи. Во всяком случае, они не поблагодарили бы Прокопят, подбивших их отца, потомственного пастуха, Егора Клячина, переселиться сюда из деревни. Там хоть никто не попрекал их пастушест-

вом, а сердобольные хозяйки по праздникам выносили им на выгон столько яиц, лепешек и всякой другой снеди, что ее хватало почти на неделю. Тут же колет глаза каждый — зачем живут в старой халупе, когда рядом лес, почему не вывозят в пору навоз, не поднимают вовремя пашню. А поди управься со всем, когда землю нарезали на десять едоков, а кобыла в хозяйстве одна да и та порченая.

Егор, от огорчения и зависти к поднимавшимся у него на глазах соседям, начал гнать самогонку, надеясь разжиться хоть на этом. Но и самогонка, как говорили понимающие в ней толк Прокопята, у него не задавалась, всегда была какая-то мутная, вонючая, и покупать ее никто не хотел. Волей-неволей приходилось пить самому. Не пропадать же добру, в самом деле. А так как на закуску не всегда находилась даже горелая корочка — Егор очень скоро сдал. Он заболел и умер, оставив совсем растерявшихся сыновей. Они хоть и успели уже пожениться, но вести хозяйство не привыкли, знали только пастушьи порядки. Мне было искренне жаль их, этих хороших, безобидных парней. А когда они еще жили в деревне, я даже немножко завидовал им. Ведь они так занятно рассказывали о повадках каждой коровы в стаде, которые всегда чем-то напоминали по характеру своих хозяек.

К тому же Лявон очень здорово стрелял кнутом, а Игнат удивительно играл на рожке. И зачем их отцу понадобилось уходить из деревни на поселок!

Вообще в новых полухуторских поселках мне все почему-то казалось каким-то ненастоящим, скучным. Может быть, потому, что не было там обжитого уюта деревенских закоулков и задворков, где заводит свои игры детство, где находит укромные уголки юность. Правда, с выделением поселков поредела и деревня, но выглядела она теперь все-таки более оживленной, чем прежде. Дворы подровнялись не только по внешнему виду, а и по достатку. В ней уже не осталось вросших в землю халуп, никто не ходил «по кусочки». Только Федя-лапотник, растерявшись на большой ниве, махнул на нее рукой и подался на Украину, но не в шахты, не на Юзовку, как собирался когда-то, а на завод в Каменское.

Зато наш сосед и однофамилец печник Михайла Игнатов, которого раньше и за хозяина никто не считал, а дети дразнили «Мишей-пустышей», дождавшись с войны сына, вдруг взялся за ум, перестал пить и на глазах удивленной деревни завел самое настоящее середняцкое хозяйство. На сходках он теперь не шумел без толку и старался сказать свое слово последним, как делали все степенные старожилы. Встретив меня, покровительственно похлопывал по плечу и многозначительно подмигивал: «Смотри, Микола, не опозорь нашу фамилию».

Конечно, в деревне тоже находились и такие, что готовы были есть землю горстями. Эти хозяйственные мужики, готовясь к очередному подушному переделу земли, женили недоростков-сыновей, а если им не выходили года — покупали за самогонку липовые метрики у спивавшихся попов. Дочерей же, даже засидевшихся в девках и рискующих остаться перестарками, вековухами, старались до нарезки земли не выдавать замуж.

Это никому не приносило радости — ни детям, ни родителям. Молодежь все смелее выходила из родительской воли. Женились и выходили замуж без отцовского и материнского благословения, без спросу уходили в город.

Старики кряхтели, но ничего поделать не могли. Прежней власти над детьми у них уже не было.

Дядька Павел, у которого было полдеревни родни и приятелей, гулял почти на всех свадьбах, справлявшихся по давно заведенному обычаю, в зимний мясоед, между рождеством и масленицей. Когда же свадеб не предвиделось, он на целый день уходил в потребилку, где обсуждались все последние деревенские новости, и похвалялся там своими подрастающими сыновьями — поплечниками — и племянником, которому доверили обучать неграмотных девок.

Сделавшись хозяином, он немножко остепенился. Теперь уже не пропадал на целые недели из дому, не уходил в рабочую пору, как говорила покойная бабка, косить собакам сено, но некоторых своих повадок бросить все-таки не мог и оставался все тем же добродушным свистуном, каким я запомнил его с детства.

Из каждой своей поездки в город на базар он обязательно привозил какую-нибудь диковинку, совершенно не нужную в хозяйстве. Привозил только затем, чтобы удивить соседей, похвалиться перед ними.

На задворке у нас образовался целый склад таких диковинок. Рядом с поломанными рессорами там можно было найти заржавленный велосипедный насос, рядом с водопроводным краном стремена и множество других вещей, назначение которых, по всей вероятности, не знал даже сам дядька Павел.

Однажды он привез огромные тиски, каких не было ни в одной сельской кузнице, и сам укрепил их на дубовой колоде под навесом. Они оказались единственной среди его диковинок вещью, которая нашла хоть какое-то применение. Все деревенские мальчишки стали приходить к нам, чтобы мастерить себе из железных прутьев коньки. Тиски служили им одновременно и наковальней. Дядьке Павлу надоел в конце концов несмолкающий на задворке гам и лязг, и он отнес свою диковинку в кузницу, отдал ее даром, сказав кузнецу:

— На, возьми, пользуйся добротой кривого дурака. Другого такого небось во всей округе не сыщешь...

Спокойно перекладывая на подрастающих «поплечников» всю зимнюю мужскую работу, он не доверял нам только одного дела — ухода за скотом, особенно за конями.

— Тут,— говорил он,— я своим одним глазом вижу лучше, чем вы все вместе.

Утром, если не было сильной метели, мы с двоюродным братом Андреем, обувшись в лапти и потуже подпоясав полушубки, ехали в лес, валили, утопая в сугробах, ломкие от морозов деревья, чтобы до распутицы запастись дровами на весь год. Вечером же, когда, управившись со скотиной, старшие уходили на посиделки, а ребята на игрища, я читал и перечитывал «Кострюка», «Захара Воробьева», «Веселый двор», «Илью пророка», узнавая в их героях черты своих односельчан. Иногда я, закрыв книжку и оглянувшись на дверь, хотя знал, что домашние вернутся еще не скоро, доставал карандаш и бумагу, чтобы дать выход теснившимся в душе звукам. Прислушиваясь к вьюге за окнами, писал:

За стеной пурга шальная
Белой лапой в окна бьет.
Пес мой, лето вспоминая,
Глухо воет у ворот.
Но напрасно недруг давний
Рвется в хату со двора.
Крепки крашеные ставни,
Снег насыпан, что гора.

Ставней на окнах у нас никогда не было. Были соломенные маты, которыми завешивались окна в самые вьюжные ночи. Но разве ж можно в стихах писать о матах?

Однажды под большим секретом я показал это стихотворение Ивану Агееву. Его я считал единственным человеком в деревне, что-нибудь понимающим в таком деле. Он прочитал, покачал головой и сказал:

— Бесполезное дело, браток. Напрасный труд. У Пушкина об этом лучше написано: «Буря мглою небо кроет...» С ним нашему брату тягаться трудно. Ты бы лучше написал, как наши мужики землю делят.

Я смущенно ответил, что о дележе земли надо писать заметки в газету, и больше стихов ему не показывал. Когда становилось уж совсем нестерпимо одиноко на душе, я отправлялся в соседнюю деревню к Ольге Михайловне. Она жила рядом со школой в крестьянской избе. За маленький рост ее у нас звали Кнопкой. Чтобы казаться немножко повыше, в школу она ходила обычно в туфельках на высоких каблуках, дома же, чтобы дать отдохнуть ногам, летом носила шлепанцы, а зимой валенки. Она поила меня чаем с топленым молоком и ласково пеняла:

— Ну с чего ты нос повесил? Как тебе не стыдно. Подумаешь, беда какая, что на год, на два отстанешь от приятелей. Впрочем, что я говорю — отстанешь. Ты же всегда самым младшим был в классе. Значит, только подравняешься с другими. Мы вон переростков садим за буквари, а ты уже семилетку успел окончить. И дальше будешь учиться. Я в тебя верю. И ты знай — нет худа без добра. Поработаешь в лесу да в поле, окрепнешь и с еще большим рвением примешься за науку. В наше время все зависит от себя. А с дядькой твоим я поговорю сама.

Розовощекая, русоволосая, в простеньком байковом платьице и вязаной кофточке, она выглядела очень уютно, и я чувствовал себя с нею совсем просто, как со старшей сестрой. Без утайки выкладывал перед нею все радости и огорчения, которые доставляли мне мои великовозрастные ученицы. Она посмеивалась, кивала головой и повторяла:

— Ничего-ничего. Это все тебе на пользу пойдет. Первая практика будет.

Я знал, что она только что пережила большое горе. Влюбилась в приезжавшего к родственникам на каникулы студента лесотехнического института, помогала ему из своего скудного жалованья окончить курс, а тот взял да и женился на дочке мельника... Все это произошло на глазах у жадной до таких новостей округи, а она даже школу не переменила. Держалась молодцом. И когда я думал об этом, мне становилось стыдно своей слабости. Ведь я хоть и мальчишка, а все-таки мужчина.

Десятилинейная лампа с абажуром, домотканые половички, кружевные занавески собственного вязания на окнах, полочка с книгами на стене, веерок фотографий и большой портрет Льва Толстого над столом — все это скромное убранство ее комнаты казалось мне тогда необыкновенно привлекательным, даже значительным. От нее не хотелось уходить в леденящую мглу вьюжной ночи. Но и засиживаться долго я не мог. Ведь ей нужно готовиться к завтрашним урокам.

Ольга Михайловна, накинув на плечи пальтишко с вытершимся хорьковым воротником, выходила со мной на крыльцо и, захлебываясь от ветра, декламировала:

Вьется путь в снегах, в степи широкой.
Вот — луга и над оврагом мост.
Под горой поселок одинокий,
На горе заброшенный погост.

Больше всего в этом стихотворении мне нравились другие строчки, которые я относил и к самому себе:

Мы спешим, мы ищем лучшей доли,
Мы хотим, чтоб это стало сном —

И погост, и вешки в белом поле,
И пустыня в сумраке ночном.

Иногда мне очень хотелось почитать ей свои стихи, но было страшно. А вдруг и ей не понравятся. Что тогда делать? С какими глазами приходить к ней, если она скажет, что я занимаюсь не своим делом. Сочинять стихи я, наверно, все равно не брошу, а обманывать Ольгу Михайловну тоже не смогу. Ведь она и в самом деле для меня вроде старшей сестры. Мне никогда не забыть, как я пришел в школу на другой день после похорон матери и как она плакала вместе со мной, уведя меня на первой перемене в учительскую комнату.

— Теперь ты должен бросить всякое озорство и учиться еще лучше, чем прежде,— сказала она, когда я немножко успокоился.— Я посажу тебя на первую парту, чтобы ты был всегда у меня перед глазами...

С тех пор Ольга Михайловна заботливо следила за каждым моим шагом. Когда я перешел в школу второй ступени, она, бывая в Тюнине, всегда справлялась у знакомых учителей о моих успехах. Вот и теперь нашла мне дело по душе и поддерживала меня, как всегда в трудные минуты. Поэтому-то у меня и не хватало духу признаться ей в том, что она могла счесть за мальчишескую самонадеянность, хотя хорошо знал ее любовь к стихам. А может быть, я до поры таился перед нею еще и потому, что в глубине души надеялся когда-нибудь по-настоящему обрадовать ее...

Перед весной Ольга Михайловна устроила экзамен моим ученицам, и тринадцать из пятнадцати получили удостоверения об окончании школы. Получила его и проэкзаменованная по моей просьбе Федосья Сорочкина.

— Вот видишь, моя учительница Машенька-барыня в грязь лицом не ударила,— сказала она, когда я поздравил ее.— Это она для тебя старалась...— На последние ее слова я не обратил внимания.

Я целую неделю ходил именинником и уже не жалел о потерянной зиме. И совсем она, оказывается, не потеряна. Пусть не задаются школьные приятели, что обогнали меня. Мы еще посмотрим, как будет дальше, кто окажется впереди.

На радостях я даже написал стихотворение. Оно было о девушке, которая, научившись грамоте, до того пристрастилась к книгам, что позабыла о назначенном ею самой свидании.

Вторит прялка завыванью вьюги,
Сад опутан снежной бахромой.
Знаю я, лукавые подруги
Насмехаться станут надо мной.

Скажут: что с тобой случилось, Таня,
Иль краса девичья не мила.
Назначала пареньку свиданье,
Да забылась с книжкой у стола.

Что ж, не мало пареньков в округе,
Пусть чуть-чуть остынет милый мой.
Вторит прялка завыванью вьюги,
Сад опутан снежной бахромой.

Прежде чем переписать стихотворение в тетрадку, я без конца повторял его про себя, обкатывая в уме строчку за строчкой. Наконец, как мне показалось, все стало на место. Попробовал спеть на знакомый мотив — поется. Значит, все в порядке.

Сгоряча я хотел было послать стихотворение в свою губернскую газету «Смоленская деревня», которую выписывали многие наши соседи, получал и дядька Павел. Мне казалось, что оно нисколько не хуже того, что там время от времени появлялось, но, представив, как будут читать его наши девушки, мои ученицы, испугался. Ведь они засмеют меня. Никому из них и в голову не могло прийти такое, что я сочинил. Нет уж, лучше подождать, пока напишется что-нибудь другое, что можно посылать, не боясь осрамиться. И, хотя я довольно скоро разочаровался в стихотворении, которое поначалу очень обрадовало меня, настроение мое не испортилось. Теперь я был убежден, что могу написать и еще лучше.

А в воздухе все явственнее пахло весной. На околице покраснела и опушилась верба. Под застрехами оседал исклеванный капелью снег. В сараях на сенной

трухе, не смолкая, ворковали голуби, на задворках в репейнике заливались щеглы. Выпущенных вечером на водопой мохнатых коней невозможно было загнать обратно в темные варки. Брыкаясь, они носились по улицам, приводя в восторг ребятишек. Набегавшись досыта, грызли кору на оттаявших сосновых бревнах, сложенных штабелями у сараев.

К ночи немножко подмораживало. В сумеречном небе звезды рдели тускло, как в печурке березовые угли, подернутые тонкой пеленой пепла.

Солнечные дни становились туманными. Дороги сразу набрякли и расползлись. Иногда мне казалось, что по-настоящему я впервые вижу наступление весны. Конечно, я и прежде замечал, когда и где появлялись первые проталины, откуда выбегали первые лучи, как вскрывались речки. Но тогда я не придавал этому особого значения, теперь же это стало для меня необычайно важным, как будто от этого в чем-то зависела моя судьба.

В сумерках, вместо посиделок, молодежь собиралась на берегу речки посмотреть, как прибывает вода, послушать, как перекликаются пролетные журавли.

Всю мою недавнюю мальчишескую тоску словно рукой сняло. А когда схлынуло половодье, задымилась подсыхающая земля, одуряюще запахло свежей травой и молодой листвой, закипела, забила белым ключом черемуха, мне уж просто не хотелось вспоминать ни о чем грустном. Как-то при переделе огородов подрались на нашем краю деревни два соседа — Федорец и Гришай Буцевы. Оба они были уже не молодые, но малосемейные мужики. Федорец жил вдвоем с женой, а у Гришая рос еще и сын. По мирскому приговору на две души давался такой же надел, как и на три. Считалось, что на меньшем наделе уже невозможно вести хозяйство. Гришаю, видимо, это показалось обидным, и он перепахал у Федорца межу. Завязалась ссора, кончившаяся дракой. Я сам этой драки не видел, но Иван Агеев так смешно рассказывал о ней, что я не утерпел и в тот же вечер сочинил песенку:

В огороде миру нет,
На соседа прет сосед.

Федорец шумит, кричит:
— Где, Гришай, твой срам и стыд?

Ты, такой-сякой нахал,
Мне межу перепахал...—
А в ответ ему Гришай:
— Ты пахать мне не мешай...
Как тряхнет своей мотней:
Подходи со всей родней!

— Вот это да,— одобрил Агеев, похлопав меня по плечу.— Это дело для драчунов похлеще, чем приглашение на сходку.

Назавтра песенку распевала уже вся деревня, а я боялся встретиться с кем-нибудь из ее героев.

Гришай, которого звали в деревне Рогатым за его неуживчивый характер, и вправду долго на меня косился, а добродушный глуховатый Федорец был даже доволен.

— И как это у тебя так складно получилось? — спрашивал он меня.— А главное — все правда, словно ты за углом стоял. Вот ведь фигура. «Как тряхнет своей мотней: подходи со всей родней...» Ну, весь тут Гришай, как есть.

— Такое, брат, не каждый может,— объяснял ему дядька Павел.— Тут нужен талант. Ты вот, скажем, колесного скрипу боишься, а люди музыку сочиняют. Так и это дело...

Мне было стыдно слушать такие разговоры, так как свою песенку я считал озорством, грубоватой мальчишеской шуткой и не знал, как буду глядеть в глаза Ольге Михайловне, если она дойдет до нее.

А дядька Павел повторял по каждому поводу на сходках:

— Племяш мой правильно сказал — «В огороде миру нет, на соседа прет сосед». Вот, дескать, знай наших и не тронь.

Тетка Пелагея тоже подобрела ко мне. Во всяком случае, не смотрела уже ледяными глазами, когда я брался за книжку, не говорила, скривив губы:

— Завелись читачи, садись на постные харчи.

Теперь она даже сокрушалась перед соседками, что

вот пришлось из-за неурожая оставить парня дома, а все будут говорить, тетка виновата...

Но больше всех радовался пришедшей ко мне вдруг деревенской славе братенник Андрей. Выйдя вечером на крыльцо с отцовской, уже изрядно потрепанной гармошкой, он первым долгом заводил мою песенку:

Ты, такой-сякой нахал,
Мне межу перепахал.

Иногда мне очень хотелось повести коней в ночное, посидеть, как бывало, с ребятами у костра, но теперь мы с Андреем считались для этого слишком взрослыми. На наши плечи ложились уже другие, мужицкие работы.

Коней пас второй братенник — Терешка. Он никому не уступал своей привилегии и только по праздникам, когда на деревне шумела гулянка, разрешал моему братишке побыть с конями на пастбище до вечера, чему тот был бесконечно рад.

Я целые дни проводил в поле за плугом и бороной, ходил, как все деревенские парни, босиком, спал в пустой, пахнущей мышами пуньке и чувствовал себя, как никогда, легко. Ольга Михайловна находила, что я очень повзрослел, хотя мне шел только пятнадцатый год.

Весна в том году выдалась на удивление погожая. Озимые вышли из-под снега ровные, яровые всходили дружно. Все предвещало хороший урожай. Дядька Павел довольно покусывал усы и многозначительно посматривал на меня. Однажды, подмигнув своим кривым глазом, сказал, чтобы я не тратил времени даром и начинал готовиться к экзаменам для поступления в педагогический техникум.

Я сразу понял, что дело тут не обошлось без Ольги Михайловны.

Как и мой отец, как и дед, дядька Павел водил пчел, хотя, по непоседливости своего характера, склонности к этому тихому занятию не имел. Но это была уже установившаяся семейная традиция, и нарушить ее он не мог, даже если бы и захотел.

Такая измена делу отцов и дедов в деревне сурово осуждалась.

Летом на пасеках, устраивающихся сообща несколькими пчелянами где-нибудь на опушке леса, за ульями присматривали по очереди наиболее опытные старики. У нас в семье стариков не было, дядьке Павлу хватало по горло работы в поле, поэтому в помощь старикам пасечникам посылали либо меня, либо моего погодка Андрея.

Андрей, уже бойко игравший на гармошке и начинавший заглядываться на девчонок, очень неохотно отправлялся на пасеку. Ему было скучно сидеть там со стариками, и он всегда просил меня подменить его, на что я охотно соглашался. Теперь же это было мне как нельзя кстати: для подготовления к экзаменам лучшего места, чем пасека, невозможно придумать. Я забрал учебники и отправился туда на все время роения пчел.

Мне и до сих пор еще нет-нет да и вспомнится огороженная высоким частоколом поляна, крытый еловой корой шалаш, струнное гудение пчел и неторопливая беседа стариков о давно минувших временах их молодости. Может быть, потому, что я рано остался без родителей и в семье дядьки, как ни хорошо он относился ко мне, чувствовал себя одиноким, что не по годам рано стал задумываться о жизни, складывавшейся нелегко, меня к старикам иногда тянуло даже сильнее, чем к ровесникам. Они, вероятно, чувствовали это и охотно беседовали со мной, вернее, даже не беседовали, а размышляли вслух, как умеют делать только пожившие и сосредоточенные на чем-то главном люди, близкие к природе.

В то лето наша песека стояла на поросшей ельником и ольшаником луговине возле небольшой речки Корчевки, на том берегу ее, куда стекались полосы яровых хлебов, главным образом овса и гречихи, которую сеяли всегда на запольных землях, где ничего другого не родилось.

На противоположном берегу речки шумели заливные луга, называвшиеся у нас луками, а за ними начинались казенные леса.

Чаще всего на пасеке командовал сутуловатый, ко-

солапый от грыжи старик Филат. Озорные ребятишки на деревне не давали ему проходу, приплясывая за ним вслед и напевая:

Филат килат,
Дождю не рад.

Филат отмахивался от них, как от надоедливых слепней, и говорил:

— Килу, как и горб, лодырь не наживет.

Ходил он по старинке — в длинной, ниже колен, рубахе с кумачными ластовками под мышками, крашенных ольховой корой портках, державшихся на мутовке, на голове носил рыжий поярковый колпак. В беседе любил поговорить сам, но и умел слушать других, а если кто-нибудь не в меру завирался, останавливал одним и тем же присловьем:

— Вот что я тебе скажу, голова два уха. Солдат в городе говорил, что после соро́к со́рок градусов мороз, после спаса сорок градусов жары — сверх натуралу...

Сказав это, он невозмутимо отходил в сторону, после чего даже самый завзятый враль либо умолкал совсем, либо начинал разговор о другом.

По праздничным дням на пасеке появлялись более молодые «пчеляки» — Иван Агеев со своим закадычным приятелем Лучкой Денисьевым. Оба они были мужики языкатые и могли заткнуть за пояс любого солда́та в городе.

Филат старался не связываться с ними, тем более что они всегда приносили с собой бутылку самогонки.

— Ну какой же ты селькор, если самогон дуешь? — спрашивал после первой чарки Агеева Лучка.— Ты же знаешь, что Советская власть этого не одобряет. Она учит, что самогон — первое зло в нашей жизни.

— Эх, Лучка, Лучка, хитрая ты штучка, а простых вещей не понимаешь. Тебе небось и невдомек, зачем я пью самогон. А пью я его затем, чтобы помочь родной Советской власти бороться с этим злом,— отвечал Агеев.— Пью, чтоб начальству меньше доставалось. Оно всегда должно быть трезвым...

После второй чарки Агеев начинал экзаменовать меня по русской истории. Задавал он всегда одни и те

же вопросы — о любовницах Петра Первого и любовниках Екатерины Второй. Обнаружив мою полную неосведомленность, он принимался рассказывать сам, мешая быль с небылицей.

— Тьфу ты, пакостники какие,— плевался Филат.— А нас чуть ли не молиться на них заставляли. Однако ж ты тоже хорош. Нашел о чем спрашивать у парня. Ему и слушать об этом непригоже. Видишь, что красная девица зарделся.

— Не мешай, дядя Филат,— спокойно возражал Агеев.— Пусть привыкает правды не бояться.

— Правда-то правда, да солдат в городе говорил...— начинал было Филат, но, встретив насмешливый взгляд Лучки, замолкал. И отводил глаза.

Лучка, кроме всего прочего, отличался еще и тем, что никогда не пьянел, сколько бы ни выпил. Во всяком случае, не терял вида, как говорил он, только чаще обычного повторял свою любимую пословицу:

— Знай край, да не падай.

И тут, оставив Филата, он обращался уже к Агееву:

— Ну, раз ты заговорил о правде, значит, баста. Больше самогону я тебе не дам. Знай край, да не падай.

Сам Лучка жил на краю деревни, пчел никуда не вывозил, и Агеев прихватывал его на пасеку для компании.

Выпроводив приятелей, Филат долго ворчал, плевался, говорил, что сивушного духа пчела не любит, злее становится, совсем позабыв о том, что и сам с удовольствием приложился к чарке.

Ко всему печатному он относился с величайшим почтением, хотя сам был неграмотен и, листая принесенные мной книги, спрашивал:

— Неужто все это тебе нужно запомнить от корки до корки?

— Все, дед Филат.

— А голова не треснет?

— Да покуда держится.

— Ну, тогда валяй. Дуй до горы, с горы оно все виднее.

Утром, проснувшись с восходом солнца, он потихоньку, чтобы не разбудить меня, вылезал из шалаша и, засучив до колен портки, шел, покашливая в кулак,

по мокрой от росы тропинке к речке — ополоснуть лицо и зачерпнуть в котелок воды для кулеша на завтрак. Услышав, что я бегу следом за ним, он, не оборачиваясь, говорил:

— И куда ты так торопишься, парень. Пчелы и те еще не вылетали из ульев, а ты уже подхватился. На меня, старика, тебе глядеть не следует. Я, может, свое последнее лето живу. Мне потому и восход встретить хочется, что немного у меня этих восходов осталось, а у тебя впереди всего много...

После завтрака Филат обходил ульи, по гуду пчел определяя, где готовится на выход рой, а потом садился на пеньке у шалаша и принимался за работу: строгал колодку для граблей, плел корзинку из ивовых прутьев либо кошель из лык. Когда я брался за книгу, он старался не отвлекать меня своими разговорами, а если становилось невмоготу молчать — начинал разговаривать сам с собой.

Полдневное время, когда затихает вся истомленная зноем природа и замолкает даже неугомонная кукушка, для нас бывало самым тревожным. Именно в это время уходят из ульев рои и нужно за ними смотреть да смотреть, чтобы не упустить их. Прежде чем уйти, они посылают поиск, разведку, которая должна найти подходящее место для посадки. Обычно разведка облюбовывает дупла старых деревьев — дубов и лип, откуда рой очень трудно достать. На моей обязанности было следить, чтобы вылетевший из улья рой не успел высоко подняться. Заметив его, я хватал ведерко с водой и кропил березовым веником державшихся кучно пчел.

После этого они садились, сбившись клубком, на сук первого попавшегося дерева, а то и на высокий пень. Тогда Филат тащил лесенку и большой липовой ложкой загребал пчел в роевню — лубяное лукошко с рогожным дном и холщовой покрышкой. Перед вечером, когда рой успокаивался, затихал, он вытряхивал его на чистую скатерть и, опустившись над ним на колени, начинал искать матку. Только заключив ее в маточник, он сажал пчел в улей, предварительно напаузив его, то есть оснастив готовой вощиной. Если маток сказывалось несколько, он сажал всех в запас-

ные маточники, чтобы рой с ними не ушел из улья. В эти минуты Филат становился похож на колдуна и не подпускал меня к себе близко.

В послеобеденную пору рои уходили редко, и Филат отпускал меня с пасеки проветриться, как он говорил. Я отправлялся в заречные луга и на лесные вырубки пособирать тающую на губах землянику, а то и просто так побродить по буйно разросшимся травам, послушать на просеках звонкоголосого пересмешника — эхо. Мне была известна каждая делянка, каждая полянка, где можно встретить пришедших по ягоды деревенских девчонок подростков-босоножек с потрескавшимися от жары губами, с выгоревшими на солнце косичками и весело поблескивающими глазами. Я любил, неожиданно появившись из-за куста, крикнуть что-нибудь страшное нарочным голосом и, рассмеявшись при виде их почти детского испуга, неторопливо выйти из тени на свет, перекинуться с ними безобидной шуткой. Но еще больше любил я вдруг высыпать кому-нибудь из девчонок, все равно кому, в кузовок всю свою землянику, радуясь ее счастливому смущению, ее пунцовому, проступавшему сквозь коричневый загар и уже не детскому румянцу. А потом, когда они, скрывшись за кустами, зальются колокольчатым смешком, неизвестно отчего вспыхнуть самому, присесть на кочку и, запрокинув голову, прокричать: «Кукушка, кукушка, прокукуй мне в левое ушко, сколько лет мне на свете жить и с тобой дружить?..»

Если я долго не возвращался, Филат встречал меня, укоризненно покачивая головой. Показывая на стопку учебников, говорил:

— Уж коли начал лапти плести, так доплетай, пока лыки не засохли.

Чтобы задобрить его, я начинал читать наизусть начальные строки сказки Демьяна Бедного «Усы и борода»:

У кузнеца, у дедушки Филата,
Был двор и хата...

Это действовало на старика почти всегда безотказно. Филат разглаживал чалую бороду и расплывался в довольной улыбке.

— Ведь вот оказия,— удивлялся он.— До всего добрались ноне ученые люди. Даже про Филата вспомнили и в книжке написали. Значит, нашему брату теперь честь и место. А что ж. Так оно и быть должно. Я, конечно, не кузнец, но двор и хату собственными руками построил. Это про меня сказано: думал быть богатым, а стал киловатым. Только я так считаю: кила не позор. Кто на работе нажил килу, тот не ходил к чужому столу, на соседский каравай рта не разевал. Такой человек никому лиха не сделает.— Спохватившись, что зашел далеко по своей привычной стежке, спрашивал:— Ну, а ты на кого же задумал учиться: на фельдшера или на писаря? В старое время фельдшер и писарь были первыми людьми на всю волость.

— Нет, я на учителя...

— Тоже дело. Нашего брата надо еще учить да учить, чтобы глядел прямо, не зевал по сторонам. Со мной самим вышел такой случай. Поехал я со своим сыном, твоим тезкой, Николаем, в Рославль пеньку продавать. Давно это было. Лет тридцать тому назад. Парень тогда еще только портчонки надел. Ну, продал я эту самую пеньку и с расчету выпил как полагается доброму хозяину. Дело прошлое, теперь можно всю правду сказать, хватил-таки я тогда лишку. Лег в сани и говорю сыну: «Бери вожжи и правь конем». А сам завернулся в армяк и захрапел. Недаром говорится: «Спит мужик, как пеньку продал». Много ли, мало ли я проспал, а проснулся от звону в ушах. Словно кто безменом по затылку огрел. Сани опрокинулись, и я лежу на мостовой. Оказывается, сынок стал галок на церквах считать, зазевался и наехал на тумбу, да все вязья и поломал. Кое-как подмотал я сани и взял вожжи в свои руки. А сын еще и спрашивает: «Бать, а бать, зачем это тумбы тут набиты?» Я хватил его батогом по спине и отвечаю: «Тумбы, сынок, для того и набиты, чтоб дураки вязья ломали...» Сын, поди, этого теперь и не помнит.

Как и все старики, Филат любил рассказывать к месту и не к месту всяческие байки и притчи, выдавая их за случаи из своей жизни, а рассказав — долго смеялся натужным, похожим на кашель смехом.

В сумерках мы с Филатом разводили костер, кипя-

тили в солдатском жестяном котелке чай, заваривали его сушеной земляникой и неторопливо пили со свежим сотовым медом, сплевывая воск в берестяную тарелочку. После чаю, лежа на сухих, пахнущих муравьиным спиртом хвойных иголках, он от душевной полноты начинал хвалить сына, который недавно овдовел, но не стал в другой раз жениться, боясь привести детям злую мачеху, а сам научился делать всю бабью работу — хлебы печь, даже доить корову.

— Весь в меня удался. Теперь таких людей мало,— заключил он.

На пасеке Филатов сын появлялся редко. Ему без хозяйки впору было управиться дома и в поле. А за то, что отец командовал пасекой, «пчеляки» устраивали ему толоку — помогали вывезти навоз, вспахать поле. Так он и жил на удивление всем соседям, на сухоту заглядывавшимся на него молодым вдовам.

Когда с речки поднимался туман, Филат залезал в шалаш, а я выходил за калитку и поднимался на зеленый бугор между двумя овражками, по форме напоминавший пирог. Его так и звали у нас — песчаный пирог.

Земля там была плохая, навоз получала редко и бросовые нивы зарастали мелким березняком. Там я давно облюбовал себе уютное местечко под выросшей неведомо как дикой яблоней и, придя туда, ложился на редкую, жесткую траву, ощущая всем телом тепло нагретой за день земли. Положив под голову руки, глядел, как румянилась разметавшая по небу косы заря, как то загорались, то меркли, меняя очертания, края облаков, как постепенно темнели волны хлебов, смывая горизонт.

С деревенской околицы доносились переборы гармошки.

«Это, наверно, наяривает Андрей»,— думал я, прислушиваясь к знакомым мотивам и улыбаясь про себя. Ему, конечно, хотелось бы самому пройтись с девушками по кругу, а его заставляют играть для других. Но он не обижался, старался изо всех сил, до седьмого пота, играя не очень складно, но зато с великим усердием немногие известные ему пляски — чечетку, русскую, польку, камаринского.

Когда совсем смеркалось, гармошка вдруг умолкала, словно разорвавшись на коленке гармониста, и девушки затягивали длинные хороводные песни. Оставались считанные дни до сенокоса, когда все разъедутся по лугам и трудно станет собираться вместе. А потом начнется жатва, молотьба и будет совсем не до песен, не до хороводов.

И вот в предчувствии страдной поры молодежь гуляет до полуночи.

На поздней заре в тишине полей отчетливо слышатся все голоса, но слова песен разобрать невозможно. Все они как бы растворяются, сливаются в одном широком напеве, то грустно-ласковом, раздумчивом, то безудержно веселом, манящем и дразнящем.

От этого напева у меня сладко ныло сердце, земля казалась теплее, заря ближе, трава душистее, ветерок ласковей. Кудрявые, светящиеся облака приобретали очертания девических лиц, далеких, загадочных и прекрасных, таких, какие вставали передо мной со страниц прочитанных книг, но каких в жизни я еще не видел ни разу. Только в самой тайной глубине души верил, что должны же они быть, если так хорошо пишут о них в книгах.

У всех моих ровесников уже завелись среди деревенских девушек свои зазнобы, свои парочки, которых они выбирали на виду у старших во всех играх и хороводах, называли, полушутя, невестами. Ребята повзрослее ходили на гулянки в соседние деревни, где они чувствовали себя вольнее, хотя из-за этого нередко происходили драки.

Только у меня ни зазнобы, ни парочки ни в своей, ни в чужой деревне не было. У меня не поворачивался язык даже в шутку назвать кого-нибудь своей невестой. Никого из девушек я не выделял для себя среди других. Мне были все они одинаково милы, как цветы в лугу, как звезды в небе... На гулянки я ходил редко. В прежние зимы потому, что учился, а в эту потому, что сам стал учить, да еще девушек, более взрослых, чем я, невест и подневестниц.

Они за глаза называли меня покровительственно-ласково — наш учителек, а на людях чуть ли не доводили до слез своими озорными частушками, в которых

так и сяк склонялось мое имя, хотя я знал, что частушки эти распевались еще и до того, как я появился на свет.

А ровесницы, с которыми я еще недавно пас коров и водил коней в ночное, относились ко мне с настороженным любопытством, словно удивляясь, почему это я стал дичиться их, может, и вправду виноваты книжки. Если мне случалось, попав на вечеринку, подсесть к кому-нибудь из них, они не знали, о чем заговорить со мной. И это еще больше стесняло меня. Чтобы не казаться букой, я заговаривал о вещах для них малоинтересных и совсем терялся.

Я бесконечно любил родную деревню, окружающие ее поля и луга, но мне уже стало этого мало, меня влекли иные просторы.

Полный смутных и волнующих предчувствий, всходил я на зеленый бугор песчаного пирога, лежал, покусывая горькую травинку, под дикой яблоней, с тайной радостью слушал долетающие с деревенской околицы песни, которые то уносили меня далеко-далеко, то снова возвращали в родные места, и вслух повторял поднимающиеся со дна души строчки:

Небо к ночи облаками пенится,
Свет-заря по межникам идет,
И поют, поют мои ровесницы,
Зазывая милых в хоровод.

Каждый звук ловлю в родной сторонке я,
Принимаю сердцем каждый вздох.
Пусть меня подхватят песни звонкие,
Понесут над полем без дорог.

Конечно, я был бы счастлив, если бы вдруг из хлебов вышла девушка-веснянка в ромашковом платье и васильковом венке, назвала меня по имени, присела рядом со мной. Я ждал и боялся этого. И никто не выходил из хлебов, не окликал меня. Но зато рядом со мной стояла заря, и на душе было легко-легко. Поеживаясь от обжигающей словно крапива росы, я возвращался на пасеку, в затопленную лунным туманом низину. Шел, не видя тропинки, но все время чувствуя

ее под ногами. Тихонько открывал калитку и раздевался у шалаша, чтобы не услышал Филат. Но Филат сам окликал меня.

— И не скучно тебе, парень, сидеть на сугорке одному? — спрашивал он, позевывая, и вылезал из шалаша, чтобы сходить до ветру и посмотреть на звезды.— Ну, что ты молчишь? Боишься признаться, что скучно.

— Нет, дед Филат, не скучно.

— Чудно. Небось все думаешь, как экзамен свой выдержать?

— Думаю.

— И правильно делаешь, парень. Тебе много думать надо, если задумал стать учителем. Старики говорили, чтоб других учить, надо свой разум наточить... Твой дядька Павел хорошо рассудил, что отправил тебя сюда ко мне. У меня не забалуешься. Нечего по зауголью бегать, нюхать, где девки стояли. Тебе это ни к чему, брат.

Высказав мне все это, словно он только затем и дожидался меня, Филат залезал в шалаш, укрывался зипуном и тут же начинал похрапывать, а я еще долго не мог заснуть, с боку на бок ворочаясь на сухой, пыльной, но еще пахучей подстилке из травы, скошенной в пору самого буйного цветения.

Одна за другой смолкали в лесу за речкой ночные птицы и только в заболоченных лугах турлыкали водяные сверчки, медведки, суля на завтра погожий день. Иногда после полуночи разражалась гроза.

В то лето мне больше всего запомнились именно ночные грозы. Филат говорил, что это примета доброго года. Ночью примачивает, днем припаривает, и все растет, как на дрожжах.

В деревне люди чуть ли не с младенчества привыкают к грозам, но до конца к ним привыкнуть все-таки нельзя. Их яростная сила заставляет трепетать все существо человека, стоящего лицом к лицу с природой.

Я никогда не позабуду грозовых ночей в тесном и душном шалаше, поминутно озаряемом слепящими вспышками то синих, то фиолетовых, то зеленых молний. Мне казалось, что после каждой такой вспышки я явственно ощущал скипидарный запах горящей смо-

лы. Удары грома перемежались с треском падающих деревьев.

Филат бормотал не то молитвы, не то заклинания, а я всем телом прижимался к земле, желая только одного, чтобы ветром не снесло хоть эту утлую крышу над нами, хотя отлично знал, что она не защитит нас, если на нее упадет стоящая немножко поодаль высокая, сухорукая сосна. Я не мог отделаться от мысли, что молнии притягивает как раз она.

Вспоминались страшные рассказы об убитых громом в поле подпасках, прятавшихся по неопытности под одиноко стоящими деревьями.

На моей памяти в нашей деревне таких случаев не было, но в соседней прошлым летом молния угодила в девочку, сидевшую на возу сена. Наши ребята ходили смотреть ее и потом рассказывали, что лежала она вся черная, как головешка.

У нас говорили, что, спасая пораженного молнией человека, надо тут же, немедленно, зарыть его в землю. А кто зароет нас с Филатом, если что случится? В нашем шалаше даже лопаты нет.

Я знал, что, когда пойдет дождь, гроза уже не так страшна, и сухими, колючими, словно наэлектризованными губами шептал:

— Ну, скорей же ты пролейся, туча. Ну, что тебе стоит...

И ливень вдруг обрушивался с такой силой, что казалось — крыша шалаша не выдержит, рухнет либо превратится в решето. Однако, как ни странно, крыша выдерживала, ливень превращался в крупный, выстукивающий знакомую мелодию дождь. Филат успокоенно кряхтел, и я тут же засыпал. Спал крепко, без сновидений, чтобы, проснувшись, увидеть сияющее тысячами маленьких солнц утро, услышать спокойное постукивание дятла, мирное посвистывание иволги, еще острее почувствовать неутолимую жажду жизни.

Раз в неделю Андрей приносил нам на пасеку харчи — мешочек гречневой крупы, кусок сала, пузырек конопляного масла и каравай хлеба. От него же мы узнавали все деревенские новости. Правда, засиживаться с нами он не любил, очень боялся пчел. От их укусов его тело, особенно лицо, страшно распухало. Ужа-

лят в губу или в нос — и сиди тогда целую неделю дома. Не пойдешь же с такими шишками на гулянку, да еще с гармошкой.

Однажды, уже совсем собравшись уходить, он вдруг осклабился и подмигнул мне.

— А знаешь, я чуть не забыл сказать, что тебе велела кланяться Машенька.

— Какая там еще Машенька,— сердито фыркнул я, ожидая какой-нибудь обидной шутки.

— Будто и не знаешь? Машенька в деревне одна — барыня. Остальные девки — Машки.

Барыней у нас в деревне звали Аришу, жену Никиты Степановича Ломаченкова, который смолоду жил на стороне. До революции работал на вагоноремонтном заводе в Риге, а теперь в рославльском железнодорожном депо. Сама Ариша до замужества служила в горничных у тюнинской барыни Пригодихи, за что и ее самое прозвали барыней. Ни прясть, ни ткать она не умела, но зато хорошо шила и дочку свою одевала на городской фасон. Поэтому-то Машеньку звали тоже барыней.

Никита Степанович приезжал домой только по большим годовым праздникам да на месяц брал отпуск летом, к уборке. Именно в эти приезды я и запомнил его. По своему виду он резко отличался не только от деревенских мужиков, но и от тех, кто побывал на стороне, приобщился к городской жизни. Коренастый, бритоголовый, с седоватыми, аккуратно подстриженными усами под крупным с горбинкой носом, он чем-то напоминал тех латышей, каких я видел в учебниках географии. Может быть, мне так казалось потому, что я знал о его многолетней работе в Риге.

Приехав домой, он не созывал гостей, не устраивал пирушек, как другие, а сразу принимался за работу. Соседей зазывал к себе только в том случае, если устраивал толоку, просил пособить при неуправке. Тут уж он угощал всех на славу, но сам и капли вина в рот не брал. Пил только пиво. Соседи поругивали его за такую нелюдимость, но уважали крепко. «Кремень человек,— дивились старики.— Смолоду запивохой был. Чуть с завода не уволили за пьянство. Дал слово мастеру бросить водку — и как отрезал».

Знающие люди утверждали, что зарабатывает он хорошо и вполне мог бы взять к себе в город всю свою семью, но не хочет отказываться от земли, терять на нее право. Да и сам он говорил, что как только наступает время сенокоса, не может усидеть в городе. Тянет на луга, надышаться свежим сеном на весь год.

И по деревне и на лугах ходил он в белой полотняной блузе и сандалиях на босу ногу. Работал неторопливо, без спешки, но споро. С удивительной тщательностью обкашивал каждый пенек, каждую кочку.

Закончив уборку, сразу уезжал в город. В остальное время по хозяйству управлялись жена и дочка. Иногда им помогал Лучка, женатый на старшей сестре Машеньки — Таньке.

Машенька едва не с десяти лет и пахала и бороновала сама. Теперь это была работящая и смышленая девушка в полной красе. Рослая, крепко сбитая, с приветливым кареглазым лицом и тяжелой трубчатой косой ржаного цвета, она уже выходила в невесты. Таких старшие подруги, дождавшиеся своей судьбы, берут в подневестницы и садят на свадьбах рядом с собой. Мешало Машеньке только одно — была она очень застенчивая, рахманая, как у нас говорили. Выделявшие среди подруг городские наряды явно стесняли ее, но перечить матери она, видимо, не решалась.

На летних гулянках и на зимних игрищах сидела всегда в сторонке и не позволяла никому из ребят тех вольностей, какие другие девушки считали выражением особой симпатии к ним. Она же, чуть что, и зальется краской. На глаза навернутся слезы, губы побелеют, задрожат. Ребята махали рукой и отходили. А потом и совсем перестали подходить — недотрога!

Хотя она была немножко старше меня, я вместе с ней учился в начальной школе и даже не раз таскал ее за косы на переменках. После школы мы встречались только мимоходом и, наверно, не сказали друг дружке и двух слов, кроме «здравствуй» и «прощай». Поэтому я был искренне удивлен, узнав, что она велела мне кланяться. Впрочем, я тут же вспомнил, что Федосья Сорочкина, с которой она занималась зимой, тоже говорила что-то такое, но тогда я пропустил ее слова мимо ушей.

— А где ты видел Машеньку?— спросил я у Андрея, чтобы как-нибудь преодолеть невольное смущение. Все-таки мне было приятно, что вспомнила меня именно она, а не какая-нибудь другая девушка.

Андрей заметил это и ухмыльнулся.

— Где я видел ее? Да как же. Она подвозила меня сюда по пути. Поехала на станцию за отцом. К сенокосу в отпуск едет. Ты ж знаешь, он всегда в это время приезжает.

— Ну, знаю... Все знают это...

— А что ей сказать, если я опять увижу ее?

— Скажи, что я ее за косы больше драть не буду, как драл когда-то в школе,— немножко помедлив, ответил я.

— А еще?

— А еще,— вмешался сидевший в сторонке на пеньке Филат,— скажи, что ему надо после покоса держать экзамен. Верно, парень?

— Верно, дед Филат,— глядя в сторону, подтвердил я.

— Ну, то-то ж...

К сенокосу роение пчел заканчивается, и мне на пасеке больше делать нечего. Там для присмотра за порядком на время медосбора остается теперь один Филат. Я уже сроднился с ним, и мне грустно уходить от него, но уходить все-таки надо. Было бы стыдно сидеть на пасеке в дни покоса, когда вся деревня на лугах. Хочется в охотку позвонить косой, как следует размяться, расправить плечи, да так, чтобы к вечеру ребро за ребро заходило, а к утру все опять было на своем месте.

Филат все хорошо понимает. Старику ничего не надо объяснять. Конечно, ему будет скучно одному, и ко мне он успел привыкнуть, но всему свой черед. Ничего не поделаешь.

В деревне наши дворы исстари стояли на разных концах. И хотя Филат говорил, что пчеляк пчеляка, как и рыбак рыбака, видит издалека, я знал, что до осени мы могли и не увидеться больше. А там я уеду на всю зиму, если, конечно, сдам экзамены и меня примут в техникум. Поэтому-то, прощаясь со мной, Филат счел необходимым предупредить:

— Ты, парень, там на деревне без меня не балуй. Помни, что за всю нашу деревню сдавать экзамены будешь. Смотри не опозорь родню. В случае чего, лучше на глаза мне не показывайся. А на прочее наплюй. Солдат в городе говорил...

Я засмеялся, обнял старика и, поминутно оглядываясь, выбежал за калитку.

Проходя по заросшему конским щавелем и полынью межнику, я машинально срывал сизые кисти, растирал их пальцами и нюхал, нюхал, прислушиваясь к рабочему жужжанию пчел. А выйдя на дорогу, еще раз оглянулся и подумал, что дни, проведенные мной на пасеке, наверно, уже не повторятся никогда, но запомнятся на всю жизнь, останутся навсегда со мной, как жужжание пчел, как запах меда и полыни.

Я лучше, чем Филат, знал, что впереди у меня всего много — удач и неудач, радостей и тревог, встреч и разлук. Но я так же знал, что меня зовет любимое дело, ради которого я собираюсь покинуть родную деревню, чтобы заплатить ей за все сторицей. Нужно только выдержать первый экзамен.

В деревню я пришел уже после полудня. День был субботний, и на улице попахивало дымком. Это за сараями, возле речки, топились бани. Перед началом сенокоса мужикам обязательно нужно попариться, чтобы не ныли от косьбы суставы.

Дома я застал только младшего из своих братенников — голубоглазого толстяка Яшку. Он сидел на корточках в сенях и рубил сечкой в корыте крапиву на корм свиньям.

Увидев меня, он, не прекращая своего занятия, сообщил:

— А без тебя тут приходила учительница, Ольга Михайловна.

— Ну и что же она говорила?

— Оставила какую-то толстую книжку и письмо. У тебя на полке лежит.

Я опрометью бросился в избу. После шалаша чисто вымытая и прибранная, словно к большому празднику, изба показалась мне необыкновенно просторной и светлой. Каждое бревнышко ее, казалось, было насквозь просвечено солнцем.

На стопке своих учебников и тетрадей я нашел бережно обернутую плотной лиловой бумагой хрестоматию А. Н. Сальникова «Русские поэты за сто лет». На обороте титула крупным, ровным, как в школьных прописях, почерком было написано: «Моему любимому ученику Коле Рыленкову на добрую и долгую память. О. М. Моисеенкова».

Тут же лежала набросанная карандашом на тетрадочном листе записка.

«Меня переводят в другую школу, и я завтра утром уезжаю в Рославль. Боюсь, что теперь мы увидимся не скоро. Мне очень хотелось сказать тебе на прощанье хоть несколько слов, но, как видишь, не удалось. Пусть эта книга будет тебе моим напутствием и благословением. Я давно догадалась, что ты пишешь стихи и удивлялась, почему ты скрываешь это от меня. Ты же хорошо знаешь, как близко к сердцу я всегда принимала все, что касается твоей судьбы. От всей души желаю тебе поступить в техникум и успешно окончить его. Остальное придет потом. Твоя О. М.».

Прочитав эту коротенькую записку, я чуть не расплакался. Мне было и радостно и горько. Радостно оттого, что такой хороший человек, как Ольга Михайловна, верит в меня, а горько потому, что я даже никогда не поблагодарил ее за все то доброе, что она сделала для меня, не сказал ей ни одного ласкового слова. И вот теперь она уехала, а когда мы встретимся снова, да и встретимся ли вообще,— неизвестно. Листая ее подарок, книгу, о которой даже не смел мечтать, я с восторгом разглядывал портреты известных и неизвестных мне поэтов, ругал себя олухом царя небесного, ослом, свиньей и тут же вспоминал те ласковые слова, которые не раз собирался сказать, да так и не сказал Ольге Михайловне.

«А может быть, она все-таки не уехала,— вдруг мелькнула у меня мысль.— Может быть, почему-либо задержалась. Ведь подводу в город за пятьдесят верст не каждый день найдешь, особенно летом. Да еще в рабочую пору».

Я взглянул на записку. Числа там не было. Первым моим движением было — бежать к ней на квартиру. Авось застану еще. Летом наши мужики в город всегда

отправлялись на ночь, чтобы проехать полдороги по холодку и утром попасть к открытию базара.

Только на всякий случай я спросил в сенях у Яшки, когда она приходила.

— Да еще на той неделе,— ответил он.

— Почему же мне ничего не сказал Андрей, когда заходил на пасеку?

Яшка виновато шмыгнул носом и почесал за ухом.

— Его тогда дома не было, а я совсем позабыл. Вспомнил только, когда тебя увидел.

Я с трудом сдержался, чтобы не влепить ему хорошего подзатыльника, но бежать в соседнюю деревню было уже явно бесполезно.

— Ну, брат, с твоей памятью тебе только одно и можно доверить, что свиньям крапиву рубить. Эх ты... Яшка, пустая ряшка. Где батька с Андреем?

Яшка сразу повеселел:

— Батька с Андреем на задворке, сарай сенной чистят. Тебе тоже велели туда приходить.

На задворке лежал воз свежего, пахнущего вениками березового хвороста с уже подсохшими листьями. Это дядька Павел приготовил для подстилки под сено, чтобы духовитей было и мыши не заводились. Андрей таскал из сарая корзинками прошлогоднюю сенную труху, а дядька чинил там бревенчатый настил, заменяя подгнившие плахи. Я взялся помогать ему.

— А заступница твоя, Ольга Михайловна, уехала,— сказал он.— Отвез ее школьный сторож Михаль Лындин в город. Она и оттуда наказывала мне, чтобы я не держал тебя дома, отпустил учиться. Словно я сам не понимаю. Да...

— Жалко, что не повидался я с ней перед отъездом,— вздохнул я.

— Не беда. Жизнь велика. На ее дорогах только гора с горой не сходятся, а люди нет-нет да и встретятся.

За работой я немножко успокоился. В самом деле, не за тридевять же земель она уехала. А тут как раз прибежал Яшка и сказал, что баня готова и мать велела не задерживаться, чтобы и бабам осталось время помыться до ночи.

В деревне каждая баня всегда была своеобразным клубом, где собирались только друзья-приятели, иногда даже с разных концов и улиц. Мужики мылись не торопясь, любили париться, и по нескольку раз забирались на полок, хлестались до одурения вениками и, кубарем скатившись оттуда, бежали окунуться в речку, если дело было летом, или поваляться по снегу, если стояла хотя бы самая лютая стужа. А потом усаживались на полу и принимались обсуждать все случившиеся за неделю в деревне происшествия, не забывая при этом поддавать на каменку квасом, чтобы пар был забористее. Бабам приходилось часами ждать очереди помыться. Случалось, что они чуть ли не силой выгоняли из бани засидевшихся мужиков. Поэтому-то и поторапливала нас тетка Пелагея.

В предбаннике уже ожидали нашего прихода Иван Агеев и Лучка, вооруженные вениками, ведерками со щелоком и квасом.

— Ну, сегодня дадут жару,— подмигнул мне Андрей.

— Дадим, дадим, а погодя и еще добавим,— засмеялся Агеев и тут же обратился ко мне: — Как ты там, на пасеке, не совсем зачитался? Смотри, до поры состаришься, потом жалеть будешь.

— Ну, ты брось, не сбивай мне с толку парня,— вступился, щуря свой кривой глаз, дядька Павел.— Кто задумал учиться, тот должен вроде как в монахи постричься.

— А избави ж нас боже от таких ученых,— хлопнул себя по голым бедрам Агеев.

— Ну, что-что, а монах из него не получится,— сказал молчавший до сих пор Лучка.— Я видел, как он краснеет перед своими ученицами. Так что можете за него не беспокоиться. Правду я говорю, Коля-Николай? Ну, то-то. Ты никого не слушай. Слушай только меня. Пойдем.— Он взял меня за руку и открыл дверь в баню. Оттуда пахнуло таким обжигающе-горьким паром, что я чуть не захлебнулся и присел на едва различимую в мерцающем свете коптилки скамейку.

А Лучка спокойно обварил веник, зачерпнул из чана ряжку холодной воды и поднялся на полок. Агеев присел рядом со мной и потрепал меня по шее:

— Давай-ка я тебе своей мочалкой спину натру, чтобы ты шуток не боялся. Жизнь, браток, всякие шутки шутить будет. А мы свои люди. Любя пошутим, любя и пожалеем, а когда надо, заступимся не шутя, ну, и поругаем тоже.

— Ну, нечего тут рассиживаться,— подтолкнул меня Андрей.— Вот щелок, садись и мойся, пока не очумел.

Мы быстренько ополоснулись и побежали домой.

Андрей спешил на последнюю предсенокосную гулянку, а мне не терпелось перелистать подаренную Ольгой Михайловной книгу.

Летом у нас долго жечь свет не полагалось, но в субботний вечер можно было посидеть подольше, пока не вернется из бани тетка Пелагея, которая, как хозяйка, всегда уходила оттуда последней.

На столе уже пыхтел самовар. Дядька Павел любил после бани почаевничать.

Андрей ужина ожидать не стал. Выпил, обжигаясь, стакан чаю, захватил гармошку и отправился на околицу, где собирались парни.

— А ты, коли на гулянку не собираешься, шел бы спать на свою пуньку,— сказала мне тетка Пелагея.— Завтра на покос, а там сон воробьиный...

— Я почитаю немножко.

— Читай, если глаз не жалеешь.

Примостившись с краю стола, я открыл книгу.

Каждую новую книгу я, едва научившись грамоте, открывал как некий волшебный ларчик, где ждут меня неожиданные сокровища. А эта хрестоматия притягивала меня по-особому. Ведь в ней собраны самые отборные, самые драгоценные зерна родной поэзии. Ольга Михайловна хорошо угадала своим чутким сердцем, что надо подарить мне, а я... Чем и когда я отблагодарю ее за нежную сестринскую заботу?

Листая страницу за страницей, я пропускал уже знакомые мне имена поэтов, зная, что теперь они будут неразлучно со мной, что я смогу в любое время обращаться к ним, читать и перечитывать, когда захочу. Мне хотелось поскорее узнать тех, кого я до сих не знал, чьих имен мне не приходилось даже слышать.

Так я набрел на своего тезку — Николая Андреееви-

ча Панова. В первых же строчках коротенькой биографической заметки о нем я прочитал, что он сын крестьянина, что отец его был крепостным. Это заинтересовало меня еще больше. Я решил дочитать заметку до конца. А там дальше говорилось: «Рано пришлось Панову вкусить горечь сиротства, круглого одиночества и начать суровую борьбу за существование. После смерти матери он жил у дяди...»

Пораженный и потрясенный удивительным совпадением судеб, я захлопнул книгу. И как раз в это время вошел в избу дядька Павел, пахнущий после бани березовым веником, еще более благодушный, чем всегда.

— Читаешь? — спросил он, щурясь на свет.— Ну, читай, читай. Для тебя книга, что для цыгана сало...

Он вытер расшитым полотенцем потное рябое лицо, повесил полотенце себе на шею и, усевшись за стол, налил два стакана чаю — себе и мне.

— А ну-ка, читач, почитай вслух, я тоже хочу послушать.

Книга как будто сама собой открылась почти на том же самом месте, и мне бросилось в глаза стихотворение «Привет жаворонку»:

Встречаешь солнце песней ты,
Певец полей и вестник света,
И отвечает с высоты,
В сиянье вечной красоты,
Оно улыбкою привета.
Шлют аромат тебе цветы,
Певец полей и вестник света...

Звенит, трепещет песнь твоя
Там, в глубине лазури чистой...
Ты мне милее соловья,
О жаворонок голосистый!

— Хорошо,— похвалил дядька Павел.— А теперь пей чай, жаворонок, а то остынет.

Андрей все еще не возвращался с гулянки, хотя гармоники на околице уже не было слышно; я ушел в пуньку один, повторяя про себя сразу запомнившиеся строчки:

Ты мне милее соловья,
О жаворонок голосистый!

Назавтра вся деревня выехала на луга.

Сенокос — самое горячее время лета. В эту пору у мужиков не просыхают потные рубашки, и все-таки они ждут его, как праздника, особенно если хорошо уродились травы. А в тот год травы выросли на диво, даже на суходольных лугах.

Дядька Павел купил нам с Андреем новые косы, отбил их, подогнал по росту косовища, дал по бруску в берестяной кошелке и сказал, окинув нас добродушно-лукавым взглядом:

— Ну, у меня теперь такие помощники, что мне самому можно будет кулеш варить.

Держать косу он приучил нас исподволь, но в прежние годы позволял нам только обкашивать кусты да пни, и косы давал старенькие, с источенным полотном, которых не жалко, если мы, не рассчитав размаха, врежем в корягу и искоробим жало.

Тогда косьба была для нас забавой, игрой, а теперь приходилось уже по-настоящему, по-взрослому становиться в ряд и вести прокос.

По давно заведенному в деревне порядку, первыми убирались примыкавшие к полям луга, мирские «чистки», чтобы поскорее можно было выпустить на них отощавшее на пару стадо.

Сенокос начинали все в один и тот же день, в луга выезжали косари на ночь, обычно — в воскресенье, попарившись накануне в бане.

Пока не насушили сена и не поставили копен, спали на свежей траве под телегами. Чтобы мы не засиживались долго у соседних костров, где велись бесконечные разговоры обо всем, что было и чего не было на белом свете, дядька Павел пригрозил, что не станет нас будить утром, посмотрит, когда мы встанем сами.

Боясь опозориться, мы улеглись пораньше и подхватились на зорьке, чуть услышав сквозь сон первые звуки тронутой точильным бруском косы. Весь луг был залит туманом, и над ним виднелись только плечи редких еще косарей.

С охотки мы пошли наперегонки, стараясь друг пе-

ред другом захватить пошире прокос, почище срезать траву.

Первые ряды прошли играючи, а потом все чаще стали останавливаться, чтобы поточить косу и вытереть набегающий на глаза пот.

Дядька Павел, косивший немножко в сторонке, посматривал на нас, посмеиваясь, но ничего не говорил. Шел он не торопясь, чуть поводя плечами, и мы сначала намного опередили его. Теперь он не только догнал, но и перегнал нас.

Туман как-то совсем незаметно рассеялся, ушел в кусты. Над соседним лесом показался краешек солнца. Оно чуть помедлило, словно запутавшись в ветвях дерев, и вдруг выкатилось на простор золотым колесом с огненными спицами. Луг весь засверкал, заискрился, слепя глаза тысячами разноцветных, переливающихся огоньков.

Все косари, как по команде, остановились, вынули из кошелок бруски, и по всему лугу покатился приветствующий солнце перезвон.

Дядька Павел, следивший за каждым нашим шагом, дал нам пройти еще несколько рядов и, повесив на сосну косу, сказал, что пора готовить завтрак. И тут мы почувствовали, что не только устали, но и проголодались.

Пока он неторопливо достает из кошеля хлеб и сало, нарезает и раскладывает порции на разостланной возле телеги скатерти, мы лежим, раскинув руки, на только что подкошенной и еще мокрой от росы траве. Мне не хочется даже пошевельнуться лишний раз.

— Ну, идите подкрепитесь, помощнички,— говорит дядька Павел.— Потом немножко отдохнете, а то до обеда не дотянете.

После завтрака мы косим, сбросив рубашки и уже не оглядываясь на дядьку Павла. Знаем, что он скосил больше, чем мы вдвоем. Солнце поднимается все выше, трава становится вялой, и приходится все сильнее нажимать на пятку косы, чтобы она не скользила, не оставляла за собой подсада. Часам к десяти мы совсем выбиваемся из сил, но показать этого нам не хочется. Останавливаемся только тогда, когда уже по всему лугу затихает звон кос.

— Эх, теперь бы выкупаться,— говорит Андрей, утирая горстью потное лицо.

— Далеко идти,— отвечаю я,— не меньше версты до речки будет.

Дядька, словно угадав наше желание, предлагает нам отвести поить коней. Мы натягиваем на ходу рубашки и бежим к забившимся в кусты от оводов коням. Андрей садится на рыжую кобылу, я на чалого мерина, и вскачь мчимся к речке Корчевке. Там есть такой вирок, где можно выкупаться с конями.

Вода в вирке, заросшем у берегов осокой и купавами, теплая, мутная, но мы долго и с удовольствием барахтаемся в ней, держась за гривы коней, а когда надоедает возиться с конями, бежим обмываться на протоку.

Пока мы купаемся, дядька Павел успевает разворошить подкошенную за утро траву и приготовить обед. Горячий, пахнущий смолистым дымком костра кулеш мы едим, обжигаясь, прямо из котелка, и он кажется нам необыкновенно вкусным. Дядька Павел положил в него столько ветчины, сколько дома кладут только по праздникам.

После обеда дядька Павел приспосабливается на пеньке под елкой отбивать косы, а мы забираемся в тенек, и под клюющий стук молотка по бабке я сразу засыпаю.

Часа через полтора, в самый глухой полдень, когда замолкает даже кукушка и только назойливо верещат кузнечики, я просыпаюсь и вспоминаю, что в телеге у меня лежат учебники, которые я не успел повторить на пасеке. Времени до экзаменов остается не так много, а я еще совсем не брался за географию. Считал, что это не такой трудный предмет и можно всегда успеть подготовиться по нему. Но теперь уже откладывать нельзя. Ведь придется еще раз повторить алгебру, с которой я никогда не был в ладу. Здесь, конечно, ею заниматься нечего и думать, а география — другое дело. Меня мучает совесть, но я чувствую, что сегодня из моих благих намерений ничего не выйдет. Надо втянуться в работу, тогда станет немножко легче и можно будет в полдень часок-другой урвать и позаниматься.

Я отгоняю пристроившегося над самым моим ухом кузнечика, прикрываю лицо травой и снова погружаюсь в дремоту, решив, что завтра непременно возьмусь за учебники. Но следующий день оказался еще более горячим. Утром дядьке Павлу уже пришлось будить нас. Ополоснув лицо водой из бочонка, Андрей жаловался, что у него ребра, как у волка, стали продольными — ни нагнуться, ни повернуться.

— А разве у волка продольные ребра? — прыснул я, сам еле-еле нагибаясь, чтобы набрать в пригоршни воды.

— Ну конечно,— совершенно серьезно ответил Андрей.— Ты разве не замечал, что волк на бегу не может повернуться. Мчится как угорелый прямо, только прямо. Тут его и берут собаки-волкодавы. Спроси, если не веришь, у охотников.

Я, вместо того чтобы рассмеяться, только охнул, схватившись за бок. На первых прокосах мы то и дело спотыкались, цеплялись за кусты, натыкаясь на скрытые в траве пеньки. Казалось, не ты направляешь косу, а она ведет тебя за собой. Это очень досадное ощущение в работе, и нужны немалые усилия, чтобы преодолеть его. И я все крепче сжимал пупок косовища, все сильнее налегал на пятку косы, чувствуя, что с каждым взмахом, с каждым вздохом трава ложится ровнее.

К завтраку мы совсем размялись, а к обеду Андрей уже пожалел, что не захватил с собой гармошки. Сейчас придут на греблево девки, и можно было бы, пока подсохнет разметанное сено, повеселить их. Вскоре и вправду весь луг запестрел от разноцветных девичьих нарядов. За кустами там и сям послышались разноголосые песни. Проходившие мимо нашей делянки с граблями на плечах молодки затянули озорные частушки:

Косила я у озера,
Косу под куст забросила,
Кошелочку под елочку,
Сама пошла к миленочку.

Самая бойкая из них — Антониха, жена сапожника Антона Коротенького, которого, как недоростка, не

взяли даже на действительную службу в армию, остановилась и помахала Андрею платком.

— Ну что ж ты, гармонист, не поддерживаешь нас?

— Гармошку дома оставил,— развел руками Андрей.

— А ты сбегай за нею, в убытке не останешься.

— Его батька не пустит,— толкнула ее в бок Фроська Долгуша, высокая, полногрудая разведенка, которая чуть ли не до поножовщины довела братьев Терешат, своего бывшего мужа и деверя.

— Батька свое отгармонил, ему теперь и колесного скрипу хватит,— не унималась Антониха.

На деревне поговаривали, что Антон, несмотря на свой малый рост, ухитрялся изрядно поколачивать ее, ревнуя ко всем соседним парням, а она, словно назло ему, рдела как маков цвет. И теперь, взглянув на Андрея, я подумал, что, если бы рядом не стоял с граблями батька, он, чего доброго, и вправду по одному ее слову побежал бы домой за гармошкой. Только она вряд ли стала бы его ждать.

— Кобыла необъезженная,— только и мог сказать дядька Павел, когда молодки немножко отошли.

Мы подмоги на греблево не ждем. Нам надо управиться самим. Перекидываясь шутками, мы стали выносить из кустов на просушку вчерашний укос. Дядька Павел все время посматривал на небо, где начинали кучиться облака. После обеда он даже не дал нам и на полчаса прилечь.

— Будем грести сено и ставить копешки,— решил он.— Некогда прохлаждаться.

— Да что ты, батя. Оно ж еще не просохло как следует,— попробовал было возразить Андрей, уже собиравшийся нырнуть под телегу.

Но отец строго оборвал его:

— Много ты понимаешь. В копешках сено не пропадет. Завтра, как только обветрит, разбросаем, и оно в одночасье подсохнет, а если попадет под дождь — его и за два дня не высушишь.

К вечеру, пока не пала роса, мы сгребли весь вчерашний укос и поставили несколько копешек. Небо совсем расчистилось, только зной долго не спадал и

заря была какая-то тусклая, словно подернутая пеленой. До сумерек мы еще успели пройти по нескольку прокосов.

За ужином Андрей попрекнул отца:

— Вот придумал ты нам двойную работу. Сегодня сено гребли, а завтра опять разбрасывать надо. Это про батраков раньше говорили: хоть полу о полу три, только не сиди без дела. Так мы ж не батраки.

— Это ты, дурак, злишься, что за гармошкой сбегать не удалось,— спокойно ответил дядька Павел.

Спать улеглись было под копешками, но там нам показалось душно, и мы с Андреем перебрались опять под телегу, а дядька Павел под елку. Я долго не мог заснуть. От духоты разламывало виски. Одуряюще пахло сеном. Где-то в кустах просила пить ночная птица. Едва задремал, как ни с того ни с сего привиделась Антониха. Играя широкими бровями, она спрашивала, приму ли я ее в свою девичью школу. Я отвечал, что будущей зимой заниматься с девушками не буду, сам поеду учиться.

«Ну и дурак,— засмеялась она.— Я так и скажу Машеньке-барыне».

— А при чем тут Машенька?— чувствуя, что краснею до корней волос, пробормотал я и открыл глаза. От злости на самого себя сплюнул:— Фу ты, пакость какая.

— Ты что? — сонным голосом спросил Андрей.

— Да снится всякая околесица.

— Это от духоты,— зевнул Андрей.— А я думал, мошка в рот попала.

— Придется лечь в телеге, может, там посвежее будет,— решил я и, забрав свой армячишко, поднялся.

Наверху и в самом деле было немножко легче дышать. Растянувшись в кузове телеги, я, чтобы прогнать дурное ощущение стыдного сна, начал вспоминать любимое свое стихотворение Бунина «Веснянку»:

Перед грозой, в Петровки, жаркой ночью,
Среди лесного ропота и шума,
Спешил я, спотыкаясь на коряги
И путаясь меж елок, за Веснянкой.
Она неслась стрелой среди деревьев

И, белая, мелькала в темноте,
Когда зарницу ветром раздувало,
А у меня уж запеклись уста
И сердце трепетало, точно голубь.
«Постой!» — хотел я крикнуть — и не мог.

Заснул я, так и не успев догнать Веснянку.

Разбудил меня где-то за полночь хлынувший вдруг ливень. Спасаться под телегу было бесполезно, она уже подплыла водой, и я побежал к дядьке Павлу под елку. Вслед за мной подошел и Андрей, промокший до нитки.

— Это вам за двойную работу, умники,— не без ехидства встретил нас дядька Павел.

Когда ливень, продолжавшийся не больше получаса, затих, мы с большим трудом развели костер, чтобы немножко обсушиться. Спать уже не хотелось, и забытье пришло только перед самым рассветом. Дядька Павел не будил нас почти до завтрака. Спутанную и прибитую ливнем траву косить плохо.

— Пусть немножко обдует,— говорил он.

А утро дышало такой свежестью, все цветы и звуки переливались с такой чистотой, что хотелось и самому пошире развернуть плечи, прожить день так, чтобы все окружающие увидели самое хорошее в тебе.

Вчерашней усталости, несмотря на беспокойную ночь, не было и в помине.

Я с удовольствием взял косу, и косовище как будто прикипело к рукам. Стальное полотно косы шло легко, без всякого нажима, и мокрая трава ложилась ровным валком.

После завтрака, когда сошла роса, дядька Павел сказал, что ночевать сегодня на лугу не останемся. Надо пересушить и перевезти домой накошенное сено.

Мы разметали валки и разворошили копешки. В копешках сено под ночным ливнем намокло только сверху, в середине оно было почти сухое, его нужно было только проветрить. Мы с Андреем решили, что в полдень будем отдыхать по очереди, чтобы один спал, а другой ворошил сено. Первым улегся Андрей. Дядька Павел ушел куда-то к приятелям, а я повернул подсыхающее сено и уселся с учебником географии под ку-

стик. Но едва перевернул несколько страниц, как откуда-то появились Иван Агеев и зажиточный мужик из молодых грамотеев — Иван Никитьев. Они спросили дядьку Павла и, узнав, что его на стану нет, уселись рядом со мной покурить.

Увидев их вместе, я очень удивился. Более разных людей в деревне у нас не было. Они спорили не только на сельских сходках, но и на посиделках.

«Наверно, сошлись случайно на нашей делянке. Каждый шел по своему делу к дядьке Павлу»,—решил я и с любопытством посматривал то на одного, то на другого.

— Зря ты себя мучаешь, парень,— сказал Иван Никитьев, взяв у меня из рук книжку.

Его слова не столько удивили, сколько озадачили меня. Ведь именно у него я чаще всего одолжался книжками, которые он давал мне весьма охотно. Среди них были и повести Гоголя, и «Хижина дяди Тома» Гарриеты Бичер-Стоу, и полный комплект журнала «Исторический вестник». Откуда попали эти книги к нему — я не спрашивал, но догадывался, что, наверно, из соседней барской усадьбы. Заметив мой недоуменный взгляд, он повторил:

— Да, совсем зря мучаешь себя...

— Это почему ж зря? — спросил я обиженно.— Что, у меня ума не хватит одолеть эту премудрость, что ли?

— Ума-то хватит, да толку мало,— усмехнулся он.— Ну, что за радость быть учителем, особенно сельским. В теперешнее время сельский учитель то же самое, что и мирской пастух. Все ему хозяева, все начальники.

— Ты бы, конечно, посоветовал пойти по счетной линии в кооперацию. И спокойно и доходно,— вставил Агеев с нескрываемым ехидством.

— Тоже нашел,— махнул рукой Иван Никитьев.— Того и жди, что в тюряху угодишь. Никогда спать спокойно не будешь. Нет, это ненадежное дело.

— А где ж, по-твоему, надежное? — прячась за клубами махорочного дыма, поинтересовался Агеев.

— На земле,— серьезно ответил Иван Никитьев.— С тех пор как народ отдал трудящемуся мужику все

права на землю, наше дело самое верное, если с умом за него взяться. Тут сам себе хозяин. Я б на месте Николая никуда из деревни не пошел. Парень он толковый, собой видный. Батьку и матку его все уважали. Чуть подрастет — первым женихом на деревне будет. Присмотрел бы хорошую невесту, да такую, чтоб она у отца одна была, вроде Машеньки-барыни, да забрал бы свою часть у дядьки, и жил бы себе, кум королю, сват министру.

При упоминании имени Машеньки я вспыхнул и отвернулся.

— Спасибо за совет, только все это не для меня. Ты говоришь, что моего отца все уважали, а он хотел, чтобы я стал учителем...

— Так ведь чудак ты человек. Отец твой когда умер? Еще до революции. Разве ж мог он знать, как мы дальше жить будем. Если ты хочешь почету, так с твоей грамотешкой тебе будет почет не только в своей деревне, а и во всей волости. Грамотные люди нам тут сейчас вот как нужны. Ты про Кирея Кузнецова из села Сухарь слышал? Его все волостное начальство боится, потому что он все законы знает и за мужиков стоит горой.

— А разве учителя не обязаны знать законы, чтобы стоять за правду? — возмутился я.

— Обязаны-то обязаны, да ведь они подначальные люди, жалованье получают, а Кирей сам по себе. Недавно у него двор сгорел. Поджег кто-то из бывших комитетчиков. Так ему на погорелое собрали столько, что он еще лучше прежнего двор поставил. Вот как надо жить. Мужики тоже дорожат хорошим человеком и в обиду не дадут.

— Погоди, прижмут скоро твоего Кирея, прижмут так, что запищит, да и тебя вместе с ним,— не вытерпел Агеев.— Ты думаешь, мы не знаем, сколько ты бедняцкой земли засеваешь исполу?

— Ну и что ж,— засмеялся Иван Никитьев.— Я ж им, дуракам, помогаю на ноги встать. Небось крестком ваш не вспашет, не засеет их нивки. Они должны мне спасибо говорить.

— Не беспокойся. Еще скажут. Скажут так, что не возрадуешься,— пообещал, вставая, Агеев.

Иван Никитьев тоже встал.

— Ладно, пойдем, селькор. Парню шевелить сено надо. А Машеньку-барыню я б на его месте все-таки закарогодил. Девка хорошая, работящая, а главное — одна у отца. Все ей достанется.

— Плохой из тебя сват,— засмеялся Агеев.— Ошибся адресом. Не того жениха девке сватаешь.

— А я и не сватаю. Я только так, к примеру говорю.

Я был убежден, что Машенька и ее отец ни сном ни духом не повинны в начатом здесь Иваном Никитьевым разговоре, хотя, наверно, Агеев подумал, что сват был подослан родителями девушки. Чтобы, как говорится, закинуть удочку. Я слишком уважал степенного и, как мне казалось, очень самолюбивого Никиту Степановича, чтобы допустить такую мысль. А если бы у него и было что-нибудь такое на уме, так он бы скорее всего заговорил со мной сам, без чьего-нибудь посредничества. Тем более, что при случайных встречах он всегда меня останавливал, расспрашивал, как живу, и поощрял мое стремление к учению. Значит, у Ивана Никитьева были какие-то свои задние мысли. Какие, я тогда понять не мог, но на душе стало смутно. Неужели есть и вправду люди, которые считают труд учителя недостойным, думают, что учитель не служит народу, а работает за жалованье? Нет, этого не может быть. Я хорошо знаю, как у нас уважают учителей, которые вникают во все нужды деревни, а не только учат грамоте детей. Разве ту же Ольгу Михайловну не будут у нас поминать добрым словом? Нет, Иван Никитьев судит обо всем по себе. Вот и на Никиту Степановича не постеснялся тень бросить, и на Машеньку. Ведь я мог бог знает что подумать, особенно после того как она передавала мне привет через Андрея.

И хоть я убежден, что она тут ни при чем, а встретиться с ней теперь мне будет неприятно, и я буду обходить ее, как и ее отца и мать...

Будить Андрея я не стал и весь полдень сушил сено сам. Разбудил его дядька Павел, когда уже нужно было начинать греблево.

Через несколько дней я отнес заявление в техни-

кум, и время пошло еще быстрее. О разговоре с Иваном Никитьевым я старался не вспоминать, чтобы не портить себе настроения.

Косили и убирали теперь уже полевые лужки по лощинам и овражкам среди посевов, а также луки по речке Корчевке. Все это было недалеко от деревни, и мы ночевали дома. Утром уходили, а в полдень возвращались, чтобы после обеда уже ехать за сеном. Нам то и дело приходилось менять косы на грабли, грабли на вилы, а вилы опять на косы.

К концу сенокоса Андрей не выдержал и заболел животом. Тетка Пелагея велела ему запрягать коня и ехать в больницу, а он вместо этого побежал к нашему соседу Василию Васильевичу Бацеву, который на войне был ветеринарным фельдшером.

За отдаленностью больницы, мужики не только водили к нему скотину, но при нужде и сами ходили лечиться. По мягкости своего характера Василий Васильевич никому не отказывал и помогал если не лекарствами, то добрым советом.

Самого Василия Васильевича Андрей дома не застал, но зато застал его жену Александру Сидоровну, действовавшую в лечебных делах гораздо решительнее мужа. Она дала ему хорошую дозу касторки, велела денек-два полежать, не брать в рот скоромного, не трогать зелени, а пить только чай.

Андрей обрадовался, что не нужно ехать за пятнадцать верст в больницу и можно отдохнуть, отоспаться. Он сбегал несколько раз на варок и, почувствовав облегчение, забрался на сеновал, а я отправился грести сено один.

За околицей, в яровом поле, меня догнал Никита Степанович. Он ехал вдвоем с Машенькой, но явно не за сеном. Его серая кобылка была запряжена не в дроги, а в легкую тележку на железном ходу. Эта тележка была его гордостью. Он сделал ее сам, и другой такой в деревне ни у кого не было. Выкрашенная черной краской, с высоким задком и крыльями для подножек по сторонам, она имела вид настоящего тарантаса.

Поравнявшись со мной, Никита Степанович придержал кобылку:

— Садись, Николаша, подвезу.

— Спасибо,— ответил я, боясь поднять на него глаза.— Мне тут недалеко, дойду.

— Садись-садись, еще успеешь находиться, набить ноги. У тебя впереди дорог много.

Он тут же пересел на заднее сиденье, уступив мне место на правой грядке тележки.

Машенька сидела на такой же грядке с другой стороны. Только теперь я заметил, что в руках она тоже держала грабли. На ней был красный в горошинку сарафан и белая, расшитая ромашками кофта. На мое «здравствуй» она ответила кивком головы, даже не обернувшись в мою сторону.

— Ну что, ты опять, как я слышал, собираешься учиться? — спросил Никита Степанович.

— Да, подал заявление в педагогический техникум.

— Молодец. За это я хвалю тебя. Мы с твоим отцом хлеб-соль смолоду водили, и он не раз говорил мне, что хочет довести тебя до дела. Разумный был мужик, грамотный. То-то бы он теперь порадовался. В какое училище сын поступает. Только вот почему оно так называется — педагогический техникум? Не пойму я что-то, какая там техника?

— Да я сам не очень понимаю,— признался я, все еще не умея преодолеть смущение.

Когда тележку подбрасывало на ухабах, тяжелая Машенькина коса мягко щекотала мне шею, и мне казалось, что меня с головы до пят окатывает какая-то теплая и колючая волна.

— Ну, дело не в названии,— немножко помолчав, продолжал Никита Степанович.— Все урегулируется, все на своем месте будет, только свою голову на плечах иметь надо. И ты учиться учись, а от родного корня не отрывайся. Не забывай, как земля пахнет. Без этого запаха нашему брату мужику нигде жизни нет. Я по себе знаю. В городе хорошо, а в деревню все-таки тянет, хочется побродить босиком по земле. Плохой человек приезжает в родные места либо по нужде, либо из гордыни, а добрым людям туда самая близкая дорожка и в радости и в горе. Вот так-то, Николаша.

У развилки, где от большака отделялась притрушенная сеном дорожка на корчевские луки, Никита Степанович остановил кобылку.

— Если тебе что-нибудь нужно узнать в Тюнине, так я как раз туда и еду, в кооператив. Могу зайти и в твой техникум.

— Ничего не нужно, Никита Степанович,— поспешно ответил я, пожимая протянутую им руку.— Мне оттуда сообщат всё сами.

— Ну, как знаешь... К вечеру жди с гостинцами! — крикнул он Машеньке и дал кобылке полный ход.

Мы свернули на боковую дорожку и, пока не затих стук колес удаляющейся тележки, шли молча.

Машенька, вертя за плечом колодку граблей, держалась немножко впереди меня.

— А я знаю, как Иван Никитьев сватал тебя к нам в зятья,— сказала она вдруг своей захлебывающейся скороговоркой и обернулась ко мне.

— Ну-у,— расстерянно протянул я и остановился. Она остановилась тоже. Загорелое лицо ее полыхало жарким румянцем. На лбу выступили бисерные капельки пота.

Выжидательно глядя на меня, она неторопливо развязала узел косынки и обмахнулась ею.

— Вот тебе и ну! Мне все рассказал Агеев. Уж я ему, этому непрошеному свату, сказала такое спасибо, что он вовек не забудет. Хорошо еще, что отец не знает, а то бы... А то бы он напустил на него Лучку...

— Да зачем же так, Машенька, Иван Михайлович совсем напрасно болтает. Я ведь сразу понял, что это только шутка,— бормотал я, не зная, как вести себя под ее не то насмешливым, не то испытующим взглядом.

— Неправда,— нахмурилась Машенька, и в голосе ее мне послышалась неподдельная обида, а золотисто-карие глаза стали совсем темными.— Я же видела, как ты обходил наши делянки, чтобы не встречаться со мной, как без оглядки проходил мимо нашего дома. Говори по совести, было? Было! Ты думаешь, мне это приятно!

— Мне и самому неприятно,— стараясь глядеть ей прямо в глаза, ответил я,— и стыдно перед тобой.

— Вот видишь,— обрадовалась она и взглянула на меня сразу посветлевшими глазами.— Сам признался, что нехорошо подумал обо мне... А я тебе, как добро-

му, приветы от всей души посылала. Думала дружить будем...

— Ну и давай дружить по-хорошему,— без всяких задних мыслей сказал я со всей решительностью, на какую был способен в эту минуту.

Машенька покачала головой:

— Нет, теперь я еще подожду, подумаю. Посмотрю, какой ты будешь, когда поступишь в свой пе-да-го-гический тех-ни-кум. Может, ты еще зазнаешься, станешь воображать...

— Да что ты, Машенька, как тебе не стыдно! — воскликнул я с искренним огорчением, все больше дивясь гордому характеру этой застенчивой девушки.— Дай мне слово, что ты не будешь сердиться и плохо думать обо мне.

— Да я и не сержусь,— вздохнула Машенька.— А уж если бы плохо подумала, так и говорить бы не стала. Теперь пойдем. Увидит кто-нибудь, что мы стоим столько времени на дороге, по всей околице мои подружки звонить начнут.

Когда мы спустились по овражку в луки, она протянула мне руку:

— Может, до осени больше не увидимся. Я ведь и не надеялась вот так поговорить с тобой. Это сегодня подходящий случай выпал. Но слова, что сказала тебе, сто раз в уме перебирала... Прощай, желаю тебе счастливо выдержать экзамен.

«А тебе дождаться хорошего жениха, самого лучшего из наших парней!» — хотел сказать я, но ничего не сказал. Не повернулся язык. Ни один из деревенских женихов не показался мне достойным Машеньки. Поймав себя на этом, я смутился еще больше.

Вороша и сгребая сено на своей делянке, я то и дело поглядывал на кусты, не мелькнет ли за ними красный сарафан и белая, с вышитыми ромашками кофта.

Весь день меня не покидало чувство какого-то смутного беспокойства, как будто я неожиданно для самого себя нашел что-то очень хорошее, очень дорогое, и тут же сразу утерял, утерял навсегда, даже не успев рассмотреть, понять, что это такое.

Но в четырнадцать лет такие чувства недолго задерживаются в душе и не оставляют в ней заметного

следа. Может быть, этот след откроется потом, через годы и годы. Во всяком случае, вернувшись вечером домой, я уже весело подшучивал над болезнью Андрея, который после почти лошадиной дозы касторки полдня проспал, отдохнул, посвежел и готов был взять в руки гармошку.

Когда я теперь вспоминаю эти дни, они представляются мне какой-то пестрой каруселью: рассветы, полдни и закаты кружились вокруг стогов, стожков и навитых возов. Спали мы не больше пяти часов в сутки, а чаще всего — и того меньше, но зато — как спали! Заберешься на сеновал под самую крышу, завернешься в дерюжку, и через пять минут, хоть стреляй над ухом из ружья, не разбудишь. Вставали, как только начинало светать, выпивали в темных сенях по кружке молока с хлебом и к восходу солнца были на очередной делянке.

В самых первых числах августа, когда сенокос уже закончился и страда перешла с лугов в поле на жатву, мне принесли открытку из техникума. В ней сообщалось, что я допущен к приемным испытаниям, которые начнутся 19 августа. Это для меня было очень удобно. 19 августа день праздничный, яблочный спас, и, значит, я меньше пропущу страдных дней, меньше будет ворчать тетка. К этому времени мы не только успели перевезти на гумно всю сжатую рожь, но и обмолотить первые овины «на семя и на емя». В воздухе начинало явственно попахивать осенью. В поле теперь убирали лен, дожидались своей очереди овес и гречиха. Настала пора собираться и мне. Я еще утром накануне праздника начистил несоленым салом с сажей свои залубеневшие за лето, преизрядно стоптанные сапоги и после обеда отправился в Тюнино.

За околицей на жнивьях меня поджидал забежавший вперед братишка. Взяв меня за руку и стараясь идти со мной в ногу, он с трогательной рассудительностью говорил:

— Ты ж смотри как следует сдавай там свои экзамены. А обо мне не беспокойся. Я теперь подрос и не буду скучать без тебя зимой. Сразу приготовлю уроки, а потом стану помогать тетке, чтобы она не попрекала, что мы с тобой сидим у нее на шее.

— Ты у меня молодец,— ответил я дрогнувшим голосом. Обнял его, поцеловал и велел идти домой.— Я еще вернусь до осени, потом будут каникулы... А летом я не отпущу тебя от себя.

— Ну, счастливого пути,— сказал он, совсем как взрослый, и, не оборачиваясь, побежал к деревне.

Я подождал, пока он не скрылся за поворотом, и зашагал по наезженному, покрытому теплой бархатистой пылью большаку, остро пахнущему дегтем и конским потом. Над жнивьями золотились заткавшие все поле паутины, с шумом проносились вспугнутые скворцы, собиравшиеся уже в предотлетные стаи. Впереди темнел лес, но и сквозь него я видел тот окруженный вековыми липами высокий многооконный дом, где предстояло мне выдержать первое серьезное испытание.

Среди поступающих в техникум, знакомых у меня никого не оказалось. Все мои одноклассники поступили в прошлом году. Преподаватели тоже почти все были новые, но председателем экзаменационной комиссии оказался мой старый учитель, а теперь директор техникума Филипп Борисович Храпченко. В школе второй ступени он заведовал учебной частью и преподавал такие разные предметы, как география и теория словесности, и преподавал, нужно сказать, превосходно. Во всяком случае, его уроки были из самых интересных. Несколько раз на уроках теории словесности его заменял младший брат, приезжавший к нему в гости красавец студент Смоленского университета, Михаил Борисович. Его уроки для нас были настоящим праздником, так как он никого не спрашивал и разговаривал с нами на вольные темы.

Филипп Борисович меня узнал сразу, хотя, по его словам, я за год очень изменился. Он долго и участливо расспрашивал, почему я не поступал в техникум в прошлом году, как жил, что делал, как удалось мне подготовиться к экзаменам. Я рассказал ему все, без утайки. Выслушав меня, он сказал с доброй, даже какой-то застенчивой улыбкой на грубоватом лице:

— Ну ничего, не волнуйся. Я надеюсь, что все будет хорошо.

Его участие меня очень подбодрило. Я изо всех сил храбрился, а на душе скребли кошки. Что будет, если

провалюсь на экзаменах? Как приду домой, с какими глазами покажусь на деревне?

Начались экзамены, как всегда, с письменной работы по русскому языку. Нам были предложены для сочинения несколько тем на выбор. Я выбрал последнюю из них: «Памятный день в моей жизни». Как-то сама собой у меня родилась мысль написать о смерти отца.

В моей памяти с необычайной отчетливостью всплыли все мельчайшие подробности того осеннего дня, когда к нам в деревню пришла из Бежицы, где работал на военном заводе отец, печальная телеграмма, как без чувств упала сестра, как плакала, собираясь на станцию, мать, и как растерянно метался от сестры к матери я, все еще не в силах поверить, что у меня нет больше отца. Обо всем этом я и рассказал на четырех тетрадочных страницах за отведенные нам на сочинение два академических часа. Кажется, это сочинение и было моим первым опытом в лирической прозе.

В тот же день я сдавал географию. Принимал ее сам Филипп Борисович. За экзаменационным столом вместе с преподавателями, по тогдашним правилам, сидел и представитель учащихся. Я немножко знал его по школе второй ступени, хотя он учился на один класс старше меня. Это был Витя Солнцев, низкорослый и необыкновенно подвижный мальчик с большими добрыми глазами. Среди солидных преподавателей его чуть видная из-за стола фигура выглядела немножко смешно, но сознание важности выполняемого долга заставляло его держаться с подобающим представителю учащейся молодежи достоинством.

Филипп Борисович задал мне вопрос о Центральной Африке. Я скороговоркой пересказал, что знал по учебнику Гермогена Иванова, который перелистал совсем недавно, а потом вдруг вспомнил читанные мной географические рассказы, где много и подробно говорилось о зловредной мухе цеце, и, как говорится, пошел-поехал.

— Ну, хватит, хватит,— заулыбался Филипп Борисович.— У меня вопросов больше нет. А у вас?— обратился он к членам комиссии.

— Тоже нет...

В перерыве меня разыскал Витя Солнцев и выта-

щил из коридора на лестничную площадку. Там, поднявшись на цыпочки, сказал мне на ухо:

— Ну, муха цеце, поздравляю тебя. Можешь считать себя принятым в техникум. Филипп Борисович по секрету сообщил мне, что уже прочитал твое сочинение. Он в восторге. Говорит — чуть не заплакал. А его, ты знаешь, пробрать трудно. Молодец, цеце.

С тех пор он так и звал меня при встречах — муха цеце. Лет тридцать спустя я получил от него письмо из редакции одной городской газеты в соседней области, и в нем он опять напомнил мне об экзамене, о нашем добром Филиппе Борисовиче и о мухе цеце. Где ты теперь, милый Витя Солнцев? Я сейчас уже не помню, как сдавал экзамены по другим предметам. Вероятно, они прошли для меня не так гладко, особенно по математике, но и без провалов. Я уже спокойно разгуливал по коридору, заглядывал в знакомые мне классные комнаты, ставшие более милыми после годичной разлуки.

Еще до того как были объявлены результаты экзаменов, Филипп Борисович пригласил меня в свой кабинет и сообщил, что решением приемной комиссии я зачислен студентом на первый курс техникума.

После слова «студент» я так и залился краской.

— Ты по всем предметам прошел хорошо, а по сочинению более чем отлично,— говорил он, пожимая мне руку.— Молодец!

Домой я возвращался победителем. Первый экзамен был выдержан. Я знал, что впереди предстоит еще немало испытаний, но они уже не пугали меня.

До сих пор мне помнится тот нежаркий предосенний день, когда я по лесной дороге шел из Тюнина в свою деревню. Шел не спеша, вбирая в себя шум деревьев, дыша горьковатым отстоем лета, с веселой беззаботностью подсвистывая птицам. На уставленных стогами лугах по густой отаве, побрякивая балабонцами, лениво бродили отяжелевшие за день коровы. Заметив редкого в эту пору прохожего, пастух стрелял своим длинным кнутом, и на дорогу выбегал подпасок, спросить — нет ли у дяденьки спичек, а то у отца все вышли и он пропадает, не куря. Я чувствовал себя немножко виноватым, что не курю, что в карманах у меня нет кисета с табаком и спичками, и от всей души

предлагал на раскурку свои тетрадки. На середине пути, неподалеку от сторожки лесника, я свернул на обочину дороги, чтобы немножко отдохнуть на пеньке, и тут же напал на семью грибов — боровиков. Они сидели большим гнездом вокруг замшелого дуба. Забыв обо всем, я начал торопливо собирать их, сначала без разбору — старые и молодые, потом старые выбросил. Я наполнил сумку, кепку, даже карманы куртки, а передо мной открывались все новые грибные гнезда.

«Надо будет запомнить местечко»,— подумал я, когда брать стало уже некуда, хотя отлично знал, что больше в это лето мне грибы собирать уже не придется. Я вспомнил, что прийти домой с «полным» — хорошая примета. Впрочем, я полон был и без грибов.

Выйдя на опушку леса, я остановился и глубоко вздохнул. В лицо мне пахнуло теплым полевым ветром, в глаза хлынула чистейшая лазурь безоблачного неба. Пока я шел лесом, мне казалось, что солнце уже совсем низко, вот-вот зайдет, а тут оно светило и сияло еще в полную силу, только тени придорожных деревьев были такие же длинные, как в лесу.

На нашем деревенском поле первым из своих мужиков я встретил Лучку. Он возле самой дороги косил гречиху. Заметив меня, остановился и поднял сверкнувшую молнией косу на плечо. Не дождавшись, пока я поравняюсь с ним, закричал:

— Ну, говори скорее, на коне или под конем?

— Конечно, на коне,— ответил я.

— Это видно по походке,— засмеялся Лучка.

— Приходи вечером на грибы. Видишь, сколько набрал по дороге.

— Грибы я и сам собирать умею, но ради такого случая приду,— пообещал он и, положив косу на валик подкошенной гречихи, обнял меня своими крепкими, влажными от пота руками.— Молодец. Спасибо тебе от всей деревни. Не подвел своих земляков. Старайся так и дальше, чтоб нам за тебя стыдно не было.

«А хватит ли у меня сил на это?»— подумал вдруг я, и сердце мое сжалось от уже не ребяческой тревоги.

— Постараюсь, Лука Денисович,— без недавней самоуверенности ответил я, чувствуя, что переступаю ту межу, за которой начинается юность.


Стихотворения

У РОДНИКА



* * *

Как мне жалко людей, про которых
Говорят, что угрюмый их глаз
Видит лишь водоемы в озерах,
А в лесу древесины запас;

Кто не может с речушкой сдружиться,
Не заплачет навзрыд с куликом,
Кто не знает, как пахнет душица
На поемном лугу вечерком;

Никогда не намокнет под ливнем,
Босиком по росе не пройдет
И под небом пронзительно-синим
Не забудет про дни непогод.

И — о чем бы они ни старались,—
Есть присловье одно про таких:
— Ни себе, ни другим не на радость
Суетливые хлопоты их!

Пей же всласть родниковую воду,
Росной свежестью луга дыши.
Кто не любит родную природу —
Тот не знает народной души!

* * *

Я рос лицом к лицу с родной природой,
Почти с рожденья подружившись с ней.
Замшелый пень, как дед сивобородый,
Рассказывал мне были давних дней.

В чащобах, не давая заблудиться,
Среди лесной дремучей ворожбы
По ягоды меня водили птицы,
А белки — по орехи да грибы.

Но там, где каждый шорох что-то значит,
Все услыхать и разгадать сумей.
От нас природа тайн своих не прячет,
Но учит быть внимательнее к ней!





* * *

От черемух на росных полянах,
От влюбленных в опушки берез —
По тропинкам в лощинах туманных
Свежесть весен я в сердце принес.

И, когда ты прочтешь эти строчки,
Может статься, почувствуешь вдруг
Горький привкус березовой почки
И влекущий черемушный дух.

СЕМЕНА

Когда готовят к севу семена,
Где мирным плугом мечена дорога,
Их проверяют вдумчиво и строго,
Чтоб не посеять тощего зерна.

Щедра на обещания весна,
Но лето ждет надежного залога...
И мне понятна мудрая тревога
Тех, кто готовит к севу семена.

Увидев их, я говорю себе:
«Есть с ними сходство и в твоей судьбе,
С уделом их удел твой одинаков.

Умей слова ценить, как семена,
Чтоб не посеять тощего зерна,
Чтоб васильки не заглушили злаков».





* * *

О край глухариный, лесная сторожка,
Лужайка, где воздух, как спирт муравьиный.
Там зори калиной ломились в окошко,
А полдни мне пачкали губы малиной.

Там за лето свыкшись со мной понемногу,
Услышав от птиц о моем появленье,
Кусты расступались, давая дорогу,
Орехи мне сыпались прямо в колени.

Криница меня зазывала в овраге,
Свою чистоту соблюдавшая свято.
Там я в тишине без пера и бумаги
Сложил мои первые песни когда-то.

Когда ты приснишься, лесная сторожка,
Без слов позовешь к глухариному краю,—
И радостно сердцу, и грустно немножко,
Что только в стихах я тебя вспоминаю.

Но ты и во сне предвещаешь мне счастье,
Ведерко малины, орехов лукошко...
Так дай же в окошко твое постучаться,
Лесная сторожка, лесная сторожка.

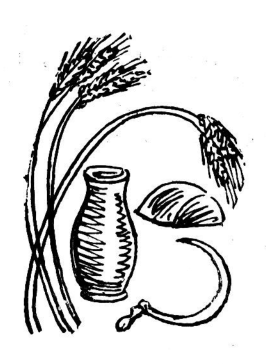
ЗЕМЛЯ

Путь хлебороба — не лукавый путь.
Земля от века учит жить правдиво.
Людскую гордость обмануть не диво,
А землю невозможно обмануть.

Она добра, но ей не жаль ничуть
Тех, кто хитрил, трудился нерадиво.
Проси, грози — не всколосится нива,
Возделанная наспех, как-нибудь.

Все примеряя — так или иначе,
Ее уроки не забыть в пути.
Не верь случайно выпавшей удаче,
Не льсти судьбе, но и себе не льсти.

Земля сама твою покажет суть.
Путь хлебороба — не лукавый путь.





ХЛЕБ

Кто землю сам пахал, тот за столом
Разрежет хлеб, не уронив ни крошки,
Стянув на свежей скатерти узлом
Во дни страды исхоженные стежки.

Я тоже в поле вырос и окреп,
Шел не прохожим по родному краю,
И по тому, как люди ценят хлеб,
Себе друзей в дорогу выбираю.



* * *

Когда тебя в беде оставит друг,
Не говори: «Я в дружбе разуверен»,
Но оглянись внимательней вокруг
И всю любовь отдай тому, кто верен!

* * *

Архитектор ты иль ваятель,
Живописец ты иль поэт,—
Что такое твое искусство,
Как не бьющий из сердца свет!

Свет любви твоей к той речушке,
Что из сказок детства течет,
К той дорожке, что год за годом
Круче радуг подъем берет.

К той избушке на курьих ножках,
Где ходил ты под стол пешком,
К той ветле, на которой месяц
Ночевал за твоим окном.

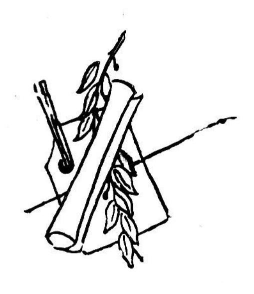
К заводилам в ребячьих играх,
С кем ты все делил пополам,
И к наставникам самым главным,
Первым школьным учителям.

К тем рассветам и к тем закатам,
Что в Москву за тобой пришли,
К босоногим дождям, что в город
Вносят запах родной земли.

Ко всему, что зовешь Отчизной,
Чем душа народа жива.
А без этого нет на свете
Ни таланта, ни мастерства.

* * *

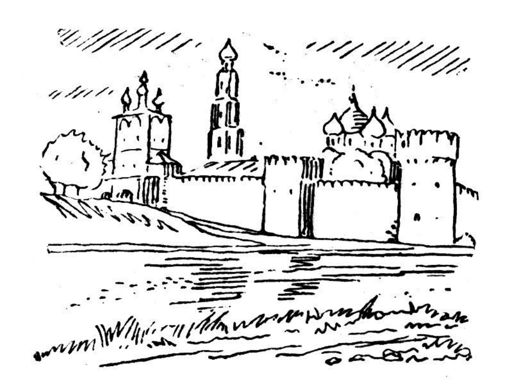
Чтоб в глаза тебе время глядело,
Встань под солнцем с открытым лицом.
За какое б ни взялся ты дело —
Не поденщиком будь, а творцом.
Уважай в себе мастера. Требуй —
Больше чем от других — от себя.
И любой — самый скромный — свой жребий
Ты прославишь, навек полюбя.





* * *

Издревле похвальбы не терпит наш народ,
В спокойной простоте, как и в труде, упорен.
О тех, кто голову под облака несет,
С усмешкой говорят: «А колос-то без зерен!»



* * *

Всегда задумчива, скромна,
Как верба у ручья,
Моя родная сторона,
Смоленщина моя.

Обожжена, как верба та,
Не раз грозой была.
Казалось: нету ни листа,
А смотришь — ожила!

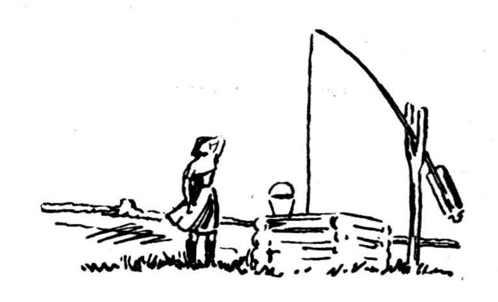
Шумит, как прежде, зелена,
Вчерашний вздох тая,
Моя родная сторона,
Смоленщина моя.

Я на твоих просторах рос,
Лелеял все мечты.
О, дай мне сил, чтоб после гроз
Я оживал, как ты!



* * *

Я хочу, чтоб в стихах у меня
Между строк
Прибежавший с полей
Заплутал ветерок;
Чтоб в волшебном краю
Моего ремесла
Круглый год было вдоволь
Земного тепла;
Чтоб кустилась пшеница,
Цвели клевера
И гудела от пчел
Медосбора пора;
Чтоб трещала во ржах
Перепелками мгла,
Чтобы в городе ты
Усидеть не могла;
Чтоб тебя потянуло
Под звезды полей,
На дороги любви
И тревоги моей.



* * *

Я вспомню детство — и увижу поле,
Над безыменной речкой — деревушку,
У изгороди, хмелем перевитой,—
Колодезный высокий журавель.

Там я с восхода солнца до заката,
Уйдя из дому, лазал по деревьям
И, возвращаясь, спрашивал у ветра,
Что будет завтра — вёдро или дождь.

И ветер отвечал мне: будет вёдро,
Деревья подтверждали: будет вёдро,
И только где-то на болоте цапля
Кричала: будет непременно дождь.

В садах цвели и осыпались вишни,
В тугие кисти превращалась завязь,
И ягоды, обугленные солнцем,
Расталкивали пыльную листву.

А детство шло. У стариков суровых
Перенимал я хитрую науку,
Как строить хаты, как сажать деревья,
В какую пору начинать посев.

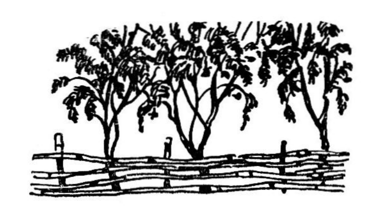
Я не боялся ни жары, ни стужи,
Я время дня определял по солнцу,
Угадывал по звездам время ночи,
Погоду знал по запаху травы.

Так наступила юность, и однажды
Мне мир окрестный показался тесным,
И я, увидев журавлей над полем,
Отправился с друзьями в дальний путь.

В просторной тишине аудиторий
Весь мир хотел обнять я жадным взором,
Поставить на столе его, как глобус,
И поворачивать перед собой.

Я день за днем в библиотеках чинных
Сидел над пожелтевшими томами
И у полотен мастеров старинных
Простаивал в музеях по часам.

А по ночам, лишь закрывались веки,
Я вспоминал деревню, поле, детство...
Да будет мне светить на всех дорогах
Моей отчизны верная звезда!



* * *

В юности мы спрашивали часто:
На какой тропе искать нам счастья?
И постигли, побродив по свету,
Что особых троп у счастья нету.

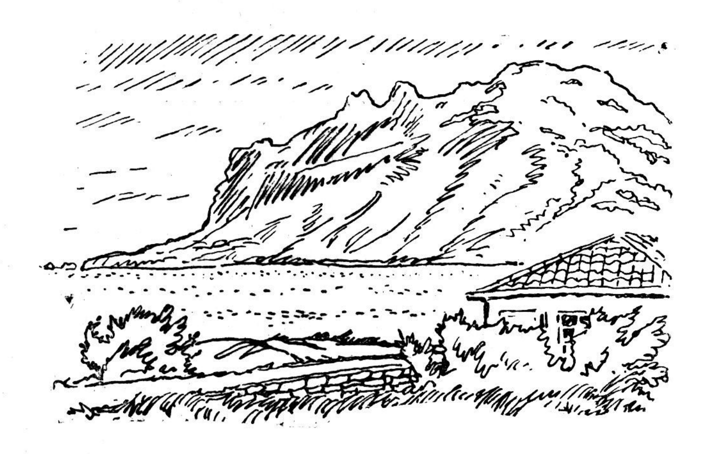
Где б ни шли мы — счастье с нами рядом,
Только надо видеть зорким взглядом,
Только слышать чутким ухом надо,
Чтоб узнать его, моя отрада.

Счастье — непредвиденный заранее
Костерок, мерцающий в тумане,
В знойный полдень родничок студеный,
Путь далекий, до конца пройденный.

Сладкий вздох перегоревшей муки,
Верность, сохраненная в разлуке,
Встреча у отцовского порога,
А наутро — новая дорога,

Новые тревоги и заботы,
Новых троп крутые повороты,
Что всегда ведут к родному краю,—
А иного счастья я не знаю.





КОКТЕБЕЛЬ

Есть что-то от древней Эллады
В тебе, коктебельская синь.
Трещат, не смолкая, цикады,
Горчайшая пахнет полынь.

Горят черепичные крыши
Домишек, стоящих не в ряд.
На взгорья — все выше и выше —
Ползет из долин виноград.

А море всегда пред глазами,
Забыть его мы не вольны,
Торжественный слыша гекзаметр
В размеренном плеске волны.

И вновь его вечной красе я
Дивлюсь на твоем берегу,
И верю: корабль Одиссея
Отсель я увидеть могу.

И верю: у скал Карадага,
В сиянье осеннего дня,
Как моря шипучая влага,
Столетия входят в меня.

Все волны, собой не владея,
Спешат, чтоб к ногам моим лечь,
И чувствую здесь, как нигде, я
Не возраст, а время у плеч.





ГАЛЬКА

Сколько гальки у кромки прибоя
Перекатывает волна.
Розоватое и голубое
Сочетает с лиловым она.

Вся мозаика эта цветная
В переливах глазури морской.
Ты стоишь зачарован, не зная,
Что достать тебе легкой рукой.

Каждый камешек кажется глазу
Самоцветом, куда ни взгляни,
Но возьмешь на ладонь их — и сразу
Весь свой блеск потеряли они.

Цвет поблек и оттенки иссякли,
Только мутная синева.
...Ты — художник, подумай: не так ли
Нас обманывают слова!

Как блестит, как играет иное,
Но проверь его, выставь на свет.
Не пленяйся же галькой цветною,
Бойся легких и скорых побед!



ВО ВРЕМЯ ШТОРМА

Который день уж колобродит море,
Кипит котлом.
За валом вал, со всем вокруг в раздоре,
Прет напролом.

А ты на берегу, обняв колени,
Сидишь одна.
У ног твоих, вся в мутно-желтой пене,
Гремит волна.

Как под дождем, всё в крупных брызгах платье.
Волна растет.
И страшно мне: вот-вот тебя подхватит
И унесет.

Но ты глядишь, чуть побледнев от счастья,
В простор морской.
Как странно, что увидел лишь сейчас я
Тебя такой.

Что в юности твоей не мог заметить
Я той черты,
Когда уже любые бури встретить
Готова ты!



ПОСЛЕ ШТОРМА

После шторма море пахнет йодом,
Берег в голубых шлепках медуз.
Дышишь так, как будто мимоходом
Сбросил с плеч давно томивший груз.

Будто, разбиваясь в ярой сшибке,
Растекаясь пеной по песку,
Смыли волны все твои ошибки,
Растворили всю твою тоску.

Чуть подернут тонкой поволокой,
Пред тобой лежит простор большой.
И опять готов ты в путь далекий
С чистым сердцем, с легкою душой!



ТЮНИНО

Может быть, родиться снова проще,
Выйти в мир широкий, как заря,
Чем забыть вас, тюнинские рощи,
В золотом свеченье сентября.

Старый парк, аллеи вековые,
Счет годам забывшие давно,
Где в далекой юности впервые
Было мне задуматься дано.

Что я знал, подросток деревенский,
В стороне заброшенной, лесной?
Только то, что ветер с поля резкий
Распахнул все двери предо мной.

Бил закат в цветные стекла дома,
Я стоял, дыханье затая.
Барский дом! Мне сызмала знакома
Слава нелюдимая твоя!

Знать, недаром мать моя, бывало,
Долгий сказ пряла по вечерам —
Как лоза витая вразумляла
Всех, кто непокорен и упрям.

И, поклон отвесив за науку,
Об одном вздыхал мой дед всегда —
Чтоб вовек не приводилось внуку
За наукой приходить сюда.

Внук пришел, но дед не видел внука,
Дед не знал, что на краю села
Дом все тот же, да не та наука,
Что его когда-то здесь ждала.

Дверь открыта, пахнет свежей краской,
Поздний луч скользит наискосок,
И гудит в опочивальне барской
Молодой учительский басок.

Я вхожу и опускаю веки,
Блики дня осеннего скупы,
Ждут меня в углах библиотеки
Старые дубовые шкапы.

Вот и день кончается недлинный,
Тень в аллеях путает следы.
Над левадой клекот журавлиный,
За левадой — темные скирды.

Старый сказ досказывают липы,
Спелый лист к руке моей прилип.
Спать спокойно прадеды могли бы,
Увидав меня у этих лип.

Я подрос. В распахнутых долинах
Всех моих дорог не сосчитать,

Но повсюду в кликах журавлиных
Эту осень слышу я опять.

Может быть, родиться снова проще,
Выйти в мир широкий, как заря,
Чем забыть вас, тюнинские рощи,
В золотом свеченье сентября.



* * *

Весны предчувствие росло,
Шумело первыми грачами,
Спать не давало мне ночами
И уводило за село
Бродить, пока не рассвело,
С двустволкой верной за плечами.

Я не хотел снимать ружья
И, стай пролетных не пугая,
К туманно-синей кромке гая
Спешил, дыханье затая.
Мне путь торила тень моя,
Вперед все время забегая.

Кого хотелось встретить мне,
Опушка чем звала лесная?
Я шел и, сам того не зная,
Навстречу будущей весне,
Чтоб где-нибудь на талом пне
Присесть, рассвета ожидая.

Там все сулило день чудес:
И поздний вздох зари морозной,
И сосны, тронутые бронзой.
Уж было времени в обрез,
Чтоб мог к утру проститься лес
С зимой, теперь совсем не грозной.

А утром, уходя домой,
Я знал, что к полдню быть капели,
Недаром сосны заскрипели,
Недаром дым над головой,
Оглядываясь, как живой,
Поплыл за речку еле-еле.

Недаром стала мне близка,
Как те проталины у лога,
В снегу темнеющие строго,
Как этот ветер у виска,
Сугробов смутная тоска,
Грачей веселая тревога.



* * *

Журавли еще в полночь весну принесли,
Опустили на первой полянке подталой,
Помахали крылами и скрылись вдали...
И так грустно, и так одиноко ей стало.

Не умея сдержать набегающих слез,
Тихо к белой березке плечом прислонилась...
Вдруг из каждой слезинки подснежник пророс,
Вся проталина ими к рассвету покрылась.

И, увидев их, так улыбнулась весна,
Так глаза ее стали светлы и лучисты,
Что в поселке тотчас догадались: «она!»
И машины пошли заводить трактористы.

* * *

Я знаю, ты встанешь
На зорьке с постели,
Услышав, что в рощу
Грачи прилетели.

Всю ночь на опушке
Судили-рядили,
Под белой березкой
Весну разбудили.

Весна улыбнулась,
Глаза заблестели:
«Пора за работу,—
Грачи прилетели».

Ты из дому выйдешь
Как будто без цели,
А сердце-то знает:
Грачи прилетели!





* * *

Снег взялся водой, потемнел и набух,
Ручей превращается в реку.
Как в зеркало, в лужу глядится петух
И, явно довольный собой, во весь дух
Кричит, окликая хохлатых подруг:
«Весна так весна... Кук-ка-реку!»

* * *

В лесу, где дрозды промывают глаза
Под первым весенним дождем на рассвете,
Все голо еще, лишь одна дереза
По мху разбросала зеленые плети.

Она и под снегом себя сберегла,
И первая вышла, весну принимая.
Мы в детстве бежали за ней из села,
Готовясь к веселому празднику мая.

Ее мы охапками в школу несли
И свежестью леса колючей дышали.
Какие венки из нее мы плели,
Какими гирляндами зал украшали!

Какие она навевала нам сны
О счастье, о дружбе к ровесницам скромным!
Что ей до того, что до новой весны
О ней мы, наверно, ни разу не вспомним.

Нам юность немало цветов принесет,
Не раз позовет нас за синие реки,
Но годы пройдут, мы поймем в свой черед,
Что первых друзей не забыть нам вовеки.



ПЕРВЫЙ ДОЖДЬ

Вчера, еще совсем раздета,
Весна в лесу таилась где-то.
Там перед ней поодиночке
Торчали пни, кусты и кочки,
Темнел на просеке валежник,
Глядел одним глазком подснежник,
И неуютно было птицам
В верхах нагих дерев гнездиться.
Они шумели на закате,
Что был бы дождь хороший кстати.
Вдруг потемнело на опушке,
И гром ударил, как из пушки.
За ним, без всякой проволочки,
Полился ливень, как из бочки.
Он гнул деревья так и этак,
Сбивал дроздов с набрякших веток
И загонял в дупло пустое,
Ломая сучья сухостоя.
Пока он лил, крутой и хлесткий,
Весна стояла под березкой,
Ловила шорохи лесные,
Считала молнии косые,
В ладонях небо поднимала,
И все ей было мало, мало.
«А ну, прибавь еще»,— просила...
Но у дождя иссякла сила,
И он ослаб.
В мгновенье ока
Встряхнулся лес, вздохнул глубоко
И, подождав на вздох ответа,
Заснул с устатку до рассвета.

Когда ж проснулся, изумленный,
Увидел: он совсем зеленый,
Кусты столпились на опушке,
Деревья тянутся друг к дружке,
Трава на кочках шевелится,
И всюду гнезда ладят птицы.
Весна оделась и в тумане
Зари дождалась на поляне,
Но, убедясь, что все в порядке,
Ушла с поляны без оглядки,
Спеша на стежки полевые:
Уж время сеять яровые.



* * *

Вновь сквозь дым паровоза
Чую горечь берез,
А запахло березой —
Время сеять овес.

И стою у окна я,
Чтоб поближе к весне.
Тяга, что ль, земляная
Пробудилась во мне?

Все поля и полянки
Мне весной по пути.
На любом полустанке
Здесь готов я сойти.

С трактористами вместе
Ночевать-зоревать,
Первым сельские вести
От грачей узнавать.

Ждать с туманного плеса
Теплых ливней и гроз.
Распустилась береза,
Время сеять овес.



* * *

В честь весны отборных зерен горсти
В окна мне бросает теплый дождь,
А ко мне пришли ночные гости,
Я созвал их из лесов и рощ.

Дом наполнен шорохом и скрипом,
Горьким духом листьев молодых.
Подхожу то к ясеням, то к липам,
Столько нужно расспросить у них!

Но гостям — тесно́ и неудобно,
И смущенно шепчут мне они:
«Мы тебе расскажем все подробно,
Только к нам домой ты загляни!

Там у нас всего такого много,
Что сюда нести нам не с руки.
Мы и так у твоего порога
Наследили, словно лешаки».

Мне от них обидно слышать это.
Я сдружился с ними не вчера.
А они, почуяв час рассвета,
Ближе к двери движутся: пора!

Вот ушли, как все уходят гости,
Лишь на сердце тень лесов и рощ...
Тишина... Отборных зерен горсти
В окна мне бросает теплый дождь!

* * *

Вечерний ветер, тише вей,
Заря ясна, чиста.
Росы напился соловей
С кленового листа.

Росы напился соловей...
Я сдерживаю вздох...
И вот посыпался с ветвей
Серебряный горох.

И вот посыпался с ветвей
В лесную тишину,
И я зажал в руке моей
Горошину одну.

И я зажал в руке моей...
Но нет, ладонь пуста!
Росы напился соловей
С кленового листа,

И вот посыпался с ветвей
Серебряный горох.
Я сохранил в душе моей
Горошин, сколько мог.

Я сохранил в душе моей —
И все тебе принес!
Вечерний ветер, тише вей,
Не шевели берез.

Вечерний ветер, тише вей,
Заря ясна, чиста.
Росы напился соловей
С кленового листа.

ЛАНДЫШИ

Почую свежий запах ландышей —
И сам себя не узнаю,
Ведь это дух лесов взаправдашний
Вошел с ним в комнату мою.

Я оглянусь, вздохну украдкою —
И от росы мокра щека,
А сердце тянет горечь сладкую
Травинки каждой и листка.

А ухо слышит в каждом шелесте
Все обещания весны,
И мир опять исполнен прелести
Почти знобящей новизны.

Ступай, росой лесных полян дыши,
Где столько тайн кусты таят...
Все это мне напомнят ландыши,
Что на столе моем стоят.

И лист исписанный я комкаю,
И удержать не в силах вздох...
О, если б я строкой негромкою
Тебе напомнить столько мог!



ВАРАКУШКА

В кустах над ручьем гнездится,
Хлопочет, сама не своя,
Варакушка, эхо-птица,
Кумушка соловья.

Чуть смеркнется за рекою,
Падет на траву роса,
Не зная ни сна, ни покоя,
Поет на все голоса.

И сколько напевов разных
Звучит у ее гнезда!
То пеночку передразнит,
То зяблика, то дрозда.

То иволге вторить станет,
В мальчишечью дудку дуть,
То вдруг соловью подтянет,
Не дотянув чуть-чуть.

И снова мотив капризный
Подхватит и поведет.
Вот только ни разу в жизни
По-своему не запоет.

Услышит ее прохожий
У родниковых вод,
Вздохнет: на песню похоже,
А за сердце не берет!

Недаром у нас говорится:
Не всяк соловей в гаю.
Уж лучше ты будь синицей,
Да песенку пой свою!

* * *

Пишет девушку в поле художник,
Пишет пятое утро подряд,
И глаза ребятишек дотошных
За мазком его каждым следят.

Уж на холст набегает раздолье,
Где той девушке жить и мечтать.
А художник опять недоволен,
Начинает сначала опять.

Все, что есть золотистого в утре,
Чем на травах сияет роса,
Вложит он в эти рыжие кудри,
В эти ждущие счастья глаза.

А пока — только отсветы вспышки,
Только пятен цветной хоровод...
И не могут понять ребятишки,
Что он ищет, чего не найдет!

Разве то, что невидимо глазу,
У чего и названия нет?
То ли дело фотограф. Он сразу
В полной форме представит портрет!

Что ты скажешь, художник, на это,
Чем поспоришь с фотографом ты,
Если чудо, как радуга лета,
Не вольется в живые черты?



РЕЧКА-РЕЧОНКА

Прибежала девчонка
К речонке.
Протянула девчонка
Ручонки.

Ножкой топнула,
Крикнула звонко:
— Ты куда утекаешь,
Речонка?

С ветром, что ли,
Бежишь вперегонки?
Ты осталась бы
В нашей сторонке.

Разлилась бы
Серебряным плесом
По полям,
По зеленым покосам.

Над тобой бы
С утра и до ночки
Полоскали березки
Платочки.

По затонам твоим
На просторе
Вместе с нами
Купались бы зори

И на берег,
Ромашкой заросший,
Выходили б
В разлужье за рощей.

Ну, уважь меня,
Речка-речонка...
Иль не нравится
Наша сторонка? —

Отвечала речонка
Девчонке:
«Все мне нравится
В здешней сторонке:

Колокольчики
В рощах грачиных,
Лепетуньи-криницы
В лощинах,

Схоронившийся в жите
Поселок,
В дальнем поле
Свистки перепелок.

Грозы шумные,
Росы хмельные...
Только есть ведь
Сторонки иные.

Только есть ведь
Сторонки другие,
Все такие же мне
Дорогие.

Я текла по лесам
По дремучим,
Я по каменным прядала
Кручам.

Растекалась
Серебряным плесом
По полям,
По зеленым покосам.

Никогда не скучала
Без дела:
То на мельнице
Жернов вертела,

То такую турбину
Встречала,
Что огонь
Из воды добывала.

Свет в попутном селе
Зажигала,
И все дальше,
Вперед убегала.

Так, со встречными
Ветрами споря,
Добегу я
До синего моря.

Подберу все ручьи,
Все криницы,
Чтоб рекой полноводной
Разлиться;

Чтобы волны мои
На причале
Все в огнях
Пароходы качали.

Где в пути
Повстречаю девчонку,
Расскажу ей
Про вашу сторонку.

И куда ни уйду —
Отовсюду
Посылать тебе
Весточки буду.

Легким облачком
С моря примчусь я,
Теплым дождичком
С неба прольюсь я

На поля, на луга,
На дубравы,
Чтоб хлеба поднимались
И травы.

Чтоб кувшинки цвели
На просторе.
Чтоб купались
По заводям зори,

Молодела над омутом
Ива...
Ну, прощай,
Оставайся счастливо...»

И, вздохнув,
Прошептала девчонка:
— До свидания,
Речка-речонка.





* * *

Дождик теплый, дождик частый,
Приходи к нам в добрый час ты.
Приходи, когда мы ждем,
Хочешь — ночью, хочешь — днем,
Под зарей, под радугой ли,
Чтоб посевы радовали.

Чтобы рожь была зерниста,
Чтоб зерно было мучнисто,
Чтоб мука была душиста,
Хлеб в печи поджаристей,
Не черствел пирог неделю,
Колобродил квас без хмелю,
Чтоб везде было веселье...
Приходи, пожалуйста!

Приходи, когда мы ждем,
Хочешь — ночью, хочешь — днем.

* * *

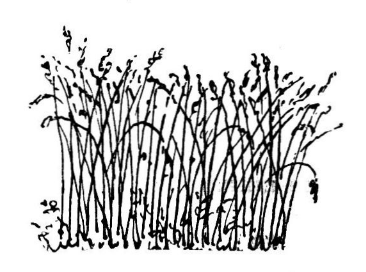
Платьев шелковых не шила,
Кофточек батистовых,
Всех ребят приворожила
Ситцами цветистыми.

Пусть цветут, не отцветая,
Эти ситцы добрые.
Вся краса родного края
Для тебя в них собрана.

Вдруг пахнет от них лугами,
Теплыми овражками,
В синий вечер — васильками,
Поутру — ромашками.

Всем, что с детства сердцу мило,
Что нам душу радует,
Что сама ты тут растила
Под высокой радугой.

А соперница косится,
Не поймет, спесивая,
Почему ты в этих ситцах
Всех подруг красивее.



* * *

Поле в дымке серебристой:
Это рожь цветет.
Ветерок во ржи струится —
Чья-то песнь плывет.

— Поднимайся ты, рожь,
Выше темных рощ,
Приюти ты мое сердце
И в вёдро и в дождь.

Под грозой, под градом выстой,
Август всё зачтет...
Поле в дымке серебристой:
Рожь цветет, цветет!

* * *

Чем бы наша модница
В поле не работница,
Да боится, что от солнца
Цвет лица испортится.

Косы могут вылинять,
Брови могут выгореть,
Что еще случиться может,
Даже и не выговорить.

Встанет утром — мается,
К полдню в тень скрывается,
А домой вернется с поля —
Гордая красавица.

Выйдет в сарафанчике,
Пальчики в карманчики,
Чтоб подруги удивлялись,
Чтоб влюблялись мальчики.

Тонко улыбается,
Чуть земли касается —
Неизвестно, как кому,
А себе уж нравится.

Рдеют щеки маковые,
Блещут туфли лаковые,
Почему ж проходят мимо
Девушки, помалкивая?

Мальчики колючие
Подмигнут при случае,
Мол, красе такой от солнца
Гибель неминучая.

Косы могут вылинять,
Брови могут выгореть,
Что еще случиться может,
Даже и не выговорить!

Гордая красавица
Смотрит, удивляется:
Неужель краса такая
Никому не нравится?





* * *

То ли гречка цветет,
То ли речка течет,
Белый-белый плёс березка
Переходит вброд.

Плёс широк на пути,
Во все поле почти.
Озирается березка:
Кто б помог перейти?

Жаль тополю до слез,
Что к земле прирос,
На руках бы он березку
Перенес через плёс.

Я спешу с холма,
Я схожу с ума:
Может, это не березка,
А ты сама?

Мимо нашего села
С сенокоса шла,
Завернула в наше поле
И уйти не могла.

То ли гречка цветет,
То ли речка течет,
То ли гречка, то ли речка,—
Чтоб сказать тебе словечко,
Семь верст не в счет.

* * *

На опушке зной замешан густо,
А в лесу — чем дальше, тем свежей.
Есть у зайцев заячья капуста,
Ежевика зреет у ежей.

Дождались малиновки малины,
В журавине бродят журавли...
...Позови тут детство с луговины,
И оно откликнется вдали!



* * *

Меж хлебами,
То бойко, то робко,
Пробирается
Тропка-торопка.

А по этой по тропке
Все лето
Кто-то бродит в полях
До рассвета.

Кто-то бродит,
Кому-то не спится,
Ждет кого-то,
Считая зарницы.

Птичье слушает
Разноголосье,
Гладит теплой ладонью
Колосья.

От его
Нерастраченной ласки
Все вокруг вырастает,
Как в сказке.

В эту пору
Мне чудится часто,
Что меня
Окликает там счастье.

С самых дальних
Загонов и полос
Долетает ко мне
Его голос.

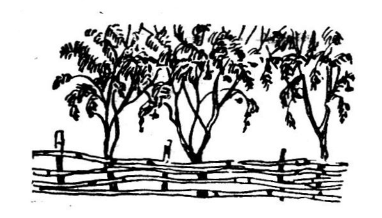
Говорит:
«Не проспи, моя прелесть,
Чтобы встретились мы —
Не расстрелись».

Поднимусь,
Выйду в поле на зорьке,
Но увижу
Лишь тень на пригорке.

И твержу
В этот утренний час я:
— От меня не уйти тебе,
Счастье.

Не сегодня, так завтра,
Я знаю,
Все равно я тебя
Повстречаю.

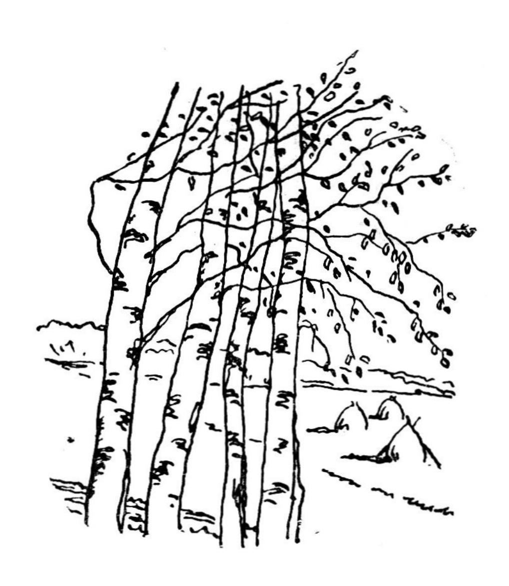
Там, где в жите,
То бойко, то робко,
Пробирается
Тропка-торопка.



* * *

Хозяйки величавы и строги,
Чуть перебросятся словцом коротким —
Они пекут с начинкой пироги,
Шипучий квас готовят к обмолоткам.

Таков обычай русских деревень:
Чтоб летом тучи не темнили неба,
Справлять с друзьями вместе в этот день,
В день обмолоток, именины хлеба.



АВГУСТ

В рассветной тишине ты выйдешь на дорогу,
Где в колеях свежи вчерашние следы.
Перед тобой туман, редея понемногу,
Откроет за рекой высокие скирды.

Они стоят кругом, все небо подпирая,
Попробуй сосчитать — не кончишь никогда.
И все они твои, от края и до края,
Как жарких дней и дел живая череда.

И если б у тебя спросили в эту пору:
— Чего желаешь ты? — ответ я знаю твой:
— Всей родине моей, всему ее простору —
Посева мирного и жатвы трудовой!

* * *

Народ всему свой мудрый счет ведет,
Им все по справедливости рассудится.
Сказав: «В страду неделя кормит год»,
Добавит: «Год на ту неделю трудится».

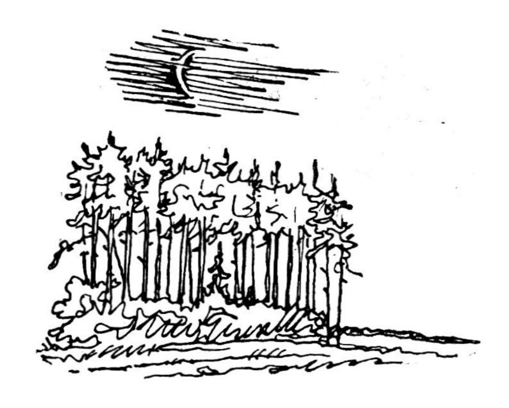




ЗАМАНЧИВОСТЬ

Порой набредешь на такую поляну в лесу,
Какую потом и во сне ты увидишь едва ли.
Как будто нарочно недолгого лета красу,
Тебя поджидая, сюда до заката собрали.

Как травы густы, как пронзительно-ярки цветы,
Кивают, манят, но стоишь ты, прижавшись к осине.
Запахло болотом. Не зря призадумался ты:
Тут все ненадежно. Тут можно увязнуть в трясине.



* * *

Цветет жасмин. От белых звезд
Всю ночь светло в саду нагретом,
И Млечный Путь, как утлый мост,
Соединил закат с рассветом.

В такие ночи слышен рост
Хлебов и трав. По всем приметам,
И теплых зорь и щедрых рос
Еще немало будет летом.

Живым текучим серебром
Дожди июльские прольются,
Ладони вытянув, как блюдца,
Пойдем в поля, встречая гром,
Где ржи густые за бугром
Под тяжестью колосьев гнутся.



* * *

Утром в поле просторном не счесть паутин шелковистых,
Тонкий луч вышивает их, как золотая игла.
А закаты туманны, и ржавчиной первой на листьях
Голубых тополей предосенняя сырость легла.

Запечатаны на зиму в ульях тяжелые соты,
Обмолочена рожь и зерно свезено в закрома.
Это август пришел, чтоб за все рассчитаться заботы,
От которых щедрей становилась природа сама.

* * *

В рассол для огурцов кладут пучок укропу
И кадку на руках выносят из сеней,
А я иду один бродить по чернотропу —
Туда, где небеса просторней и синей;

Где бьет из-под земли зеленой пеной озимь,
Сентябрьской суете грачей наперекор;
Где грянет выстрел вдруг и, бросив эхо оземь,
Покатится пустым бочонком за бугор;

Где бродит облаков медлительное стадо
И ветер, как пастух, идет за ним, трубя;
Где предо мной лежат все краски листопада,
Чтоб мог, моя любовь, я написать тебя.





* * *

В лугах ледок, прозрачный как слюда,
Подернул за ночь дождевые лужи.
Я не пойму и сам — зачем сюда
Я прихожу в преддверье зимней стужи.

Люблю бродить, не находя следа
Тропинок летних, и, вздохнув поглубже,
Разбить ледок, прозрачный как слюда,
Чтоб неба горстью зачерпнуть из лужи.

* * *

Мне по сердцу ясность
Пейзажа осеннего,
Как пушкинский стих
И как проза Тургенева.

Рукой уверенной
Мастера мудрого
В природе все прибрано,
Лишнее — убрано.

И все так отчетливо
Видится-слышится,
Летят журавли,
Паутинка ль колышется.

Но ловит мой слух,
И находят глаза мои
Здесь главное самое,
Важное самое:

Дороги, с груженными
Хлебом машинами,
Холмы, с гребешками
Костров петушиными.

Опушку, где тропка
Любая примечена,
Где каждое дерево
Солнцем просвечено.

Ликует сентябрь,
И у ног моих тень его.
Мне по сердцу ясность
Пейзажа осеннего.





* * *

Есть поговорка русская. Она
Была мне в детстве как завет дана,
Ее отец мой повторял в тиши:
— Снял урожай — и вновь поля вспаши.

Я, по отцовским проходя следам,
Ту поговорку сыну передам.
Сын выйдет в поле, скажет в свой черед:
— Былое помни, но гляди вперед!

* * *

Не собирал я редкие словечки,
Но звук родной всегда в душе живет.
Вот место, где сливаются две речки,
Его назвал сутоками народ.

И что мне в том, что в словарях толковых
Такого слова не было и нет,
В нем пенье струй я слышу родниковых,
На шелест трав, на шум лесов ответ.

Его истоки глубоки и чисты,
Я сам его прозрачности дивлюсь.
Так пусть дополнят словари лингвисты,
Твердя стихи поэтов наизусть.



* * *

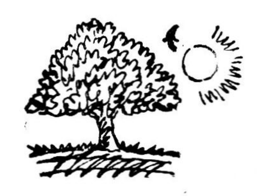
В. Бокову

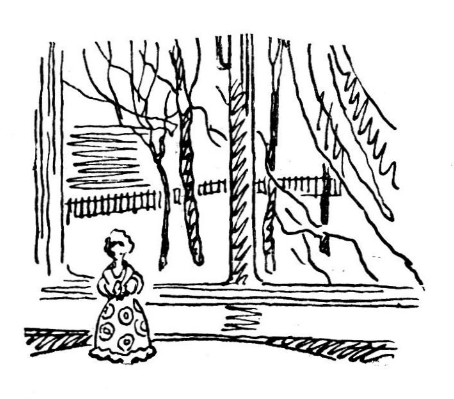
Видно, таким уродился я; видно,
С тем и прошел сквозь жару и мороз...
Не приобрел я осанки солидной,
Хоть до седых уже дожил волос.

Только, признаться, я в этом не каюсь,
Доброму слову открыт, как лучу.
Друга замечу — навстречу кидаюсь,
Годы забыв, не бегу, а лечу.

Что мне до перьев, до шпор петушиных,
Был бы костер над крутым бережком!
И, не завидуя тем, кто в машинах,
День свой встречать выхожу я пешком.

Так, выбирая дорогу любую,
Переступая любую межу,
Лучше я чувствую землю родную
И о друзьях справедливей сужу.





ЗАЗИМОК

Его давно нетерпеливо ждешь,
Глядишь в окно, как будто ненароком.
А за окном все дождь, и дождь, и дождь
Идет назло синицам и сорокам.

Напрасно снится сизый дым порош,
След первопутка вó поле широком...
И ты вздыхаешь про себя: «Ну что ж,
Еще не всё подвластно нашим срокам».

По небу те же облака плывут,
Туман кочует на полях озимых,
Продрогший ветер ластится к жилью.

Уж и в окно бы не глядел, но тут,
Когда не ждешь, и выпадет зазимок,
И все преобразит в твоем краю.



* * *

Вновь зимы настали сроки,
Снег идет, задумчив, тих.
В стрекотании сороки
Слышу я знакомый стих.

Попрошу, вдохнув глубоко,
В чуть пристывшей тишине:
— Стрекотунья-белобока,
Напророчь гостей и мне!

И сорока мне ответит:
«Вон снегурка у дверей!»
А зима чиста, как этот
Милый пушкинский хорей.

СНЕГУРОЧКА

Податлив снежок мокроватый
Еще неокрепшей зимы.
Снегурочку лепят ребята,
Как в детстве лепили и мы.

Красны, как гусиные лапки,
Озябшие руки горят,
Не внучка для деда и бабки,
Подружка растет для ребят.

У всех на глазах вырастает,
Чтоб тут же войти в их семью,
И каждый мальчишка мечтает
Вдохнуть в нее душу свою.

Недаром, собравшись в сторонке,
В проеме широких ворот,
Ревниво косятся девчонки
На ту, что над снегом встает.

Постойте, не надо коситься,
Недолго Снегурочке жить.
Одно от нее сохранится —
Чудесная жажда творить.

Легли на снежок непримятый
Прозрачные тени зимы.
Снегурочку лепят ребята,
Как в детстве лепили и мы.





ПОРОША

Вчера сулила оттепель порошу,
Дымился снег, и ветер был ретив.
Я знал, что снова сердце растревожу,
На русаков двустволку зарядив.

Широкий пояс, и патроны в гнездах,
И сапоги высокие скрипят,
И все плотней охватывает воздух,
Морозный, пробирающий до пят.

Дробится солнце в инее по соснам.
Перегорает в струнах проводов,
И тянется за дымом папиросным
Летучий запах заячьих следов.

Передо мной играют тени в прятки,
Расталкивает ветер облака,
И я иду все дальше без оглядки,
Распутывая петли русака.

А с чем домой вернусь — не все равно ли!
Я буду счастлив тем, что в свой черед
Была пороша, были вешки в поле
И след, который звал меня вперед...

ИНЕЙ

Хороша погода зимняя,
Снег вчерашний чуть примят.
В лунном свете блеском инея
До краев наполнен сад.

Ускоряют шаг прохожие,
Ветер тени гонит прочь.
Отчего, скажи, тревожнее
Бьется сердце в эту ночь?

Почему, скажи мне, прожитый
Предо мною год лежит,
Как на первой на пороше той
След подкованных копыт?

Что там видится, что чается
И манит, манит вперед?
То ль былое вспоминается,
То ль небывшее зовет?

А вокруг все, как во сне, бело,
Слышишь только ветки дрожь.
Что тут было, чего не было,
Хоть убей, не разберешь!

Что сбылось, о чем мечтается,
Что тревожит в час иной,
Все в один узор сплетается,
Словно иней под луной!



НА ЛЫЖАХ НОЧЬЮ

На ресницах иней серебрится,
Побелели брови под луной.
Ветер злится, обжигая лица,
А кругом звенит простор сквозной.
Стынут звезды на плече твоем.
Ночь,
Поля,
И мы с тобой вдвоем.

Волны снега вздыбились с разбега,
Разметались брызгами слюды.
Отмечает голубая Вега
Легких лыж узорные следы.
Догоняй!
Согрела без огня
Ты своей улыбкою меня!

В синей шали ты не хороша ли,
Захочу — прижму тебя к плечу.
Оттолкну кусты, чтоб не мешали,
И опять за звездами лечу.
Ветром разделяющая двух,
Крутизна
Захватывает дух.

Разве поздно полночью морозной
След завить в серебряную нить.
Если сердцем молодость не роздана,
Если снег под лыжами звенит.
Стынут звезды на плече твоем...
Ночь,
Поля,
И мы с тобой вдвоем.



* * *

Мне нравится искусство бочара,
Когда, в карман не лезущий за словом,
Он в зимние большие вечера
Скрепляет клепку обручем дубовым.

Врезает дно, храня суровый вид,
И говорит: — Сто лет смолить не надо!
Посудина, что колокол, гудит.—
И сердце мастера удаче радо.

И снова, как вчера и завчера,
Не видя любопытных за плечами,
Он тешет клепку дни и вечера
И пригоняет обручи ночами.

Нужны мне глаз и мудрость бочара,
Чтоб речь скреплять, как бочку, обручами.

* * *

Помнишь наши ночные прогулки?
Я забыть их никак не могу!
Слышу — дали морозные гулки,
Вижу — звезды лежат на снегу.

Сколько их, серебристых и хрупких,
Лунным ситом просеяно тут.
Не за ними ли в заячьих шубках
По сугробам березы бредут?

Подберутся, а их и не стало,
Будто спрятались в снег от погонь,
А поодаль сквозного кристалла
Загорелся холодный огонь.

И манит за сугробы... А в это
Время, сон нарушая людской,
Как лунатик, брожу до рассвета
Я в квартире моей городской.

Все мне кажется, что в переулке
Те же звезды лежат на снегу...
Помнишь наши ночные прогулки?
Я забыть их никак не могу!



СКАЗКА О МАЛЕНЬКОМ ДРОВОСЕКЕ

Летит над тополем седым
Метели сизый дым.
Продрогнул тополь-нелюдим,
А мы в тепле сидим.

Наш вечер тих, наш стол широк...
Всему свой час и срок,
И ты готовишь свой урок,
Бродя по тропкам строк.

Луна взошла давным-давно
Над голубым бугром,
Разрисовала нам окно
Серебряным пером.

Ты дважды два и пятью пять
Устала повторять.

Волос каштановая прядь
Упала на тетрадь.

Склонилась дрема за плечом
И шепчет — время спать!
Что рассказать тебе, о чем,
Чтоб дрему отогнать?

Постой! Одну лесную быль
Я вспомнил наконец.
Ее рассказывать любил,
Бывало, мой отец.

Где сеем жито мы теперь —
Шумел дремучий бор.
По дебрям рыскал дикий зверь
Среди берлог и нор.

Рябина рдела, что коралл,
Отягощая ветвь,
И лучший улей забирал
На пасеке медведь.

Тащил по зарослям и мхам,
Знал в пчеловодстве толк...
И, как за данью, к пастухам
Шел за барашком волк.

Сойдясь, пастух и пчеловод
Вздыхали: дескать, вот,
Попали в бор и платим сбор
Зверью с давнишних пор.

Крутился желтый лист без сил
Над синей рябью вод,
И ульи на зиму свозил
В омшаник пчеловод.

Пастух к жилью скликал стада,
Гремя в закат трубой...
Был страшен темный бор тогда
Обшарпанный, рябой.

Вступал декабрь в свои права
И, вьюгам дав сигнал,
Из теплой хаты по дрова
Морозным утром гнал.

Дорога шла не тяжела
Меж сосен и осин.
А в том краю вдова жила
И с ней мальчишка — сын.

Сидеть он дома не привык,
Пусть мать прядет свой лен.
Как настоящий лесовик,
Он ловок и смышлен.

Бродить по просекам лесным
Он с детства полюбил...
И вот какой однажды с ним
В ту зиму случай был.

Он воз валежника в бору
Набрал, как довезти,
И видит — время ко двору,
Застигнет ночь в пути.

Спешит — объехать бы суметь
Берложные места...
И вдруг — на просеку медведь
Шагнул из-за куста.

Как обомшелый пень, космат,
Загородил он путь,

И ни попятиться назад,
Ни в сторону свернуть.

Ревет: «Мальчишка, не перечь.
Твой конь — медвежья сыть,
А мне пора в берлогу лечь,
Так надо закусить».

Примолкли сосны и дубы,
Как встал он на дыбы.
Хватил со всех медвежьих сил —
И в снег коня свалил.

Стал темный бор еще темней,
Сломал закат крыло,
И дровосека от саней
Как ветром отнесло.

Он озирается вокруг,
По горло горем сыт...
Плечами оттолкнув подруг,
Ель перед ним стоит.

Не ель — зеленая гора.
Не сразу схватит взгляд.
В дремучей хвое до утра
Укрыться парень рад.

Взобрался, дышит тяжело
(Медведь наделал дел),
Чуть повернулся — и в дупло
С вершины полетел.

Очнувшись, он потрогал бок,
Горячий лоб растер...
В кармане — спичек коробок,
За поясом — топор.

В дупле просторно, как в избе,
Одна беда — темно...
Он оглянулся и себе
Стал прорубать окно.

Не проруби окна — отсель
Не вылезешь вовек...
Стучал топор, скрипела ель,
Работал дровосек.

Не ждал на помощь никого.
Все должен сам успеть...
За дятла глупого его,
Наверно, счел медведь.

А дятлов мало ли окрест,
Пускай себе стучат!..
Сидит медведь, конину ест,
Урчит, свежине рад.

Морозит, но в дупле жара,
Все громче сердца стук.
Не выпускает топора
Наш дровосек из рук.

Дымясь, струится пот со щек,
Захватывает дух.
И неба синего клочок
Ему открылся вдруг.

Горел, блистал звезды кристалл.
Так, значит, ночь давно...
Врезался в дерево металл
И прорубал окно.

А небо с левой стороны
Все ближе и синей.

На лунной просеке видны
Раздужины саней.

Ведут с луною звезды спор,
А ночь, как день, светла...
Заткнув за пояс свой топор,
Он вышел из дупла.

Глядит — медведь все тут как тут,
Кончает ужин свой.
Просунул голову в хомут
За конской головой.

И дровосек смекнул: «Ну, вот,
Попал в упряжку зверь...
А я-то думал, кто свезет
Меня домой теперь.

Уж за коня сочтусь потом,
Когда сложу дрова!»
Вскочил на сани и кнутом
Хватил и раз и два.

Медведь с испугу как рванул,
Как по снегу попер,
Такой поднялся треск и гул,
Что зашатался бор.

Не понимая, что стряслось,
Откуда шум в бору,
Глодать осину бросил лось,
Ушел барсук в нору.

Проснулся заяц под кустом
И задал стрекача,
На волка в прутнике густом
Нарвался сгоряча.

Но волк отпрянул в буерак,
В тоске оскалив пасть:
«Успеешь, мол, косой дурак,
На зубы мне попасть!»

Лиса и та — на что хитра —
Забилась под завал,
Лишь старый филин до утра
В чащобе хохотал.

Чуть-чуть примолкнет и опять
Зальется на пути:
«Умел, медведь, коня задрать,
Умей и воз везти».

Медведь по дебрям колесил,
Весь белый свет кляня,
Пока не выбился из сил,
Не стал смирней коня.

Хозяин мал — зато удал.
Он, подтянув кушак,
Медведя накрепко взнуздал,
Направил на большак.

Вожжами тронул дровосек,
И зверь под звон удил
Пошел, как будто целый век
В упряжке проходил.

Скрипел под полозом мороз,
Заря роняла медь...
И прямо к завтраку привез
Хозяина медведь.

Ну, вот и все... Воды с тех пор
Немало утекло,

И там, где был дремучий бор,
Теперь стоит село.

Тебе не страшен поздний час,
Когда шумят кусты,
Медведя видела лишь раз
(И то в зверинце) ты...

Но если вдруг когда-нибудь
В туман и гололедь
Пересечет беда твой путь,
Нагрянув, как медведь,—

Пускай тебе у синих рек,
У дедовских могил
Приснится мальчик-дровосек,
Что зверя укротил.



ИЗ СТИХОВ О ДЕТСТВЕ

I

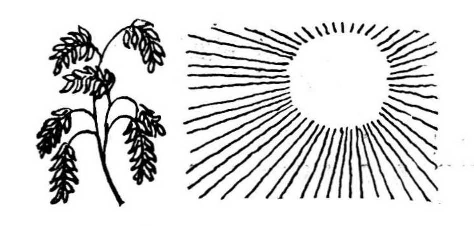
Нет, из лесной таинственной избушки
Нам Дед-Мороз не приносил игрушки,
И все ж судьба к нам не была скупа.
Мы к первопутку у себя в клетушке
Строгали лыжи, мастерили клюшки.
Нам не забыть, как сладко пахли стружки,
Опилок золотистая крупа.

II

Бывало, лишь кивнет через плечо нам
Зима: «А чем сегодня пахнет снег?» —
Как мы заспорим: «Яблоком моченым!» —
«Нет, пирогом, с грибами испеченным!» —
«Нет, творогом, что подают к драченам!..»
А день звенит сосульками у стрех,
И все довольны, радость есть у всех.

III

Нырнула ночь за уголок подушки,
В сучок в стене ушла ее тропа.
Мы утро пьем, как молоко из кружки,
А на столе уже блинов стопа.
Да что блины! Скорей бы нам одеться
И на мороз, где санки так быстры.
На них-то и умчимся мы из детства,
Не оглянувшись, как с крутой горы.



* * *

Морозы — декабрю, метели — февралю,
Капели первые — задумчивому марту.
А я б сказать не мог, что больше я люблю,
Читая по ночам небес открытых карту.

Меня влечет вперед круговорот времен,
Зимою ждешь весны, весною просишь лета
И говоришь всегда, часов заслышав звон,
Что песня лучшая твоя еще не спета.



ИЗ ДНЕВНИКА

Фронт приближался к Москве. В ту пору
Наш батальон стоял под Можайском,
И каждое утро все ближе, ближе
Мы слышали пушечную канонаду.

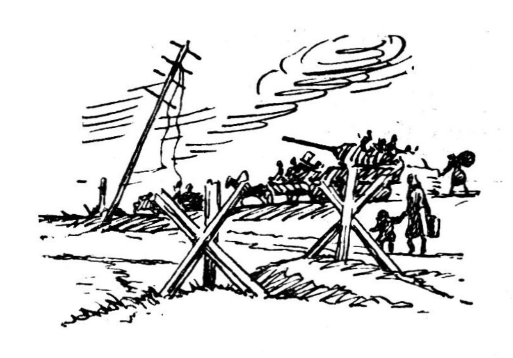
А сводки газетные были скупы,
А письма друзей доходили редко,
И мы не знали, где наши семьи,
Бежавшие из городов сожженных.

Мы видели только — по всем дорогам,
По всем колеям, осенним, размытым,
Тянулись подводы с утра до ночи,
Груженные разным домашним скарбом.

На их перепутьях смолкали ветры,
Березы склонялись у перекрестков,
И журавлей прощальные трубы
Гремели над ними в пустынном небе.

Но сухи были глаза у женщин,
Они за войну разучились плакать,
Им опалило ресницы горе,
Бледные губы сомкнуло плотно.

Я пристально вглядывался в их лица,
И сердце сжималось мое тревожно:
Может быть, встречу своих знакомых,
Может быть, близких своих увижу.



Мне в каждой девочке десятилетней
Виделась дочка моя Наташа,
Мне в каждой девочке пятилетней
Виделась дочка моя Ирина.

Но ни с Наташей моей, ни с Ириной
Не привелось мне тогда повстречаться.
Горькой рябиной, тоской журавлиной,
Казалось мне, в сердце они стучатся.

Казалось мне, я, как солдат, в ответе
За все, что вынесут наши дети,
Лишенные крова, лишенные детства,
Бежавшие, еле успев одеться.

А рядом уверенно и деловито
Бойцы белорусы и украинцы
Противотанковые рвы копали,
Как погреба у себя в деревне.

Я видел: привыкшие к созиданью,
Люди за землю держатся крепко...
И снова мои расправлялись плечи,
И на душе становилось легче.

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Заря просторная,
Как песня русская,
Дорога торная,
Тропинка узкая.

Здесь все изложены
И все излучины
Давно исхожены,
Давно заучены.

Не зря подростками
Косили травы мы
Да под березками
Да под кудрявыми.

Не зря подростками
Сушили травы мы
За перекрестками,
За переправами.

Мы жито сеяли,
А ветры веяли,
Былинку каждую
Для нас лелеяли.

Здесь все, что вдунуло
Нам в душу мужество,
Что нас в солдатское
Ввело содружество.

Что дружбы, верности
Открыло правило,
Что в строй поставило
И в бой отправило.

Мы шли за русскую
Зарю просторную
Да за широкую
Дорогу торную.

Познав свирепую,
Тоску солдатскую,
Мы воду черпали
Тяжелой каскою.

И вновь прозрачную
Струю днепровскую
Пьем под березкою
Да под отцовскою.

А рядом поле то,
Что кровью полито,
Где ком земли сырой
Дороже золота.

Взгляну ль упрямо я,
Пройду ли мимо я,—
Ты здесь, звезда моя,
Неугасимая.

Неопалимая,
Неодолимая,—
Земля советская,
Навек любимая.

Заря просторная,
Как песня русская,
Дорога торная,
Тропинка узкая.



ЛЕСНАЯ СТОРОЖКА

Как в сказке
Избушка на курьих ножках,
Стояла над речкой
Лесная сторожка.

Березы горели пред ней,
Как свечки,
Ученый скворец
Свистал на крылечке.

Казалось,
Если попросишь взглядом:
«Стань ко мне передом,
К лесу — задом»,

Скрипя
И покряхтывая немножко,
Исполнит
Просьбу твою
Сторожка!

И сон ты припомнишь свой
Давний-давний,
Увидев на окнах
Резные ставни.

Увидев наличники
Расписные,
Где собраны вместе
Все звери лесные:

Зайчата друг дружку
Качают в зыбке,
Лиса
Наигрывает на скрипке,

И, как подобает
Добрым соседям,
Волк отплясывает
С медведем.

А надо всем
В синеве туманной
Раскинул крылья
Петух деревянный.

Заря заглядывает
В окошко...
Стояла над речкой
Лесная сторожка.

Прожил в сторожке
Почти полвека
Старый лесник
Дорофей Громека.

Прожил вдали
От большой дороги,
От большой судьбы,
От большой тревоги.

Он лес охранял
По-хозяйски, как надо,

И в дни листопада,
И в дни снегопада.

Всплакнул он впервой
И почуял усталость
В ненастную ночь,
Как жена скончалась.

А в люльке,
Выкручиваясь из пеленок,
Барахталась дочка —
Грудной ребенок.

Не знала,
Кого отняла могила...
Давно ли, казалось,
Все это было?

Но дочка росла,
И они на могиле
Дикую яблоньку
Посадили.

Старый лесник
Для своей Аленки
Всегда что-нибудь
Мастерил в сторонке,

Вырезывал дудочки
И свисточки,
Дома лубяные
Строил на кочке.

Один для ежа,
Другой для зайчонка,
Чтоб без друзей
Не скучала Аленка.

И было обидно ему
Сначала,
Что девочка все-таки
Заскучала.

Поет, бывало,
В траве за пенечком
Тоненьким-тоненьким
Голосочком.

Песня Аленушки

Крутит осень по лесу
Золотую пряжу.
Сядь поближе, заинька,
Я тебя поглажу.

Дам тебе морковки я,
Принесу капустки.
Научись, мой серенький,
Говорить по-русски.

Скучно, одиноко мне,
Не с кем молвить слова.
Убежать за тридевять
Я земель готова.

. . . .

Увидев, что дочка
В лесу томится,
Отвел он ее на село
Учиться.

И ожила сразу
Аленка в школе.
Давно ли все это было,
Давно ли?

Давно ли она
Из села прибегала,
Цветы по знакомым
Лугам собирала?

Давно ли уехала
В город отсюда?
Ну, разве не диво все это,
Не чудо?

Вот-вот лесоводом
Аленка вернется.
И ждет ее старый лесник
Не дождется!

Сторожка ждет
И лесная поляна.
Но все повернула
Война нежданно!

Сначала казалось —
Война эта где-то
За лесом, за лугом,
За краем света.

И вдруг оказалось —
Она тут, рядом...
Мост через речку
Снесен снарядом.

Вода замутилась
У переправы,
Побиты хлеба,
Потоптаны травы.

Подернуты дымом
Лесные делянки.
Рычат, как звери,
Немецкие танки.

Ночью и днем
У туманной опушки
Воют истошным голосом
Пушки.

Ветер обходит
Села пустые.
Люди бросают
Места обжитые.

Гнездовья свои
Покидают птицы,

Волки бегут,
Уходят лисицы.

Дымя из трубки
Злым самосадом,
Лесник провожает их
Долгим взглядом.

Думает:
«Как уходить без Аленки?..
Я прожил весь век
От людей в сторонке.

Не ссорился с ними
И не был дружен...
Кто меня тронет?
Кому я нужен?

Авось и война
Прокатится мимо,
Будет сторожка
Стоять нерушимо.

Птицы вернутся,
Засвищут звонко.
В гости приедет
Весной Аленка.

Взойдет на крылечко
И честь по чести
Все найдет
На привычном месте,

Увидит друзей
И знакомых давних,
Оживших
В узорной резьбе на ставнях.

Зайчата друг дружку
Качают в зыбке,
Лиса наигрывает
На скрипке,

И, как подобает
Добрым соседям,
Волк отплясывает
С медведем;

Они тут дома,
Им горя мало,
Что все в околотке
Война поломала,

Что по дорогам
Бредут калеки...»
И дочка в ночи
Постучалась к Громеке.

Усталая,
Чуть притворила сенцы,
Сказала, что город
Спалили немцы.

Оттуда, душу свою
Спасая,
Она убежала
Нагая, босая.

Думала тут
Оглядеться немножко:
Стоит на лесной поляне
Сторожка.

Кто к ней прокладывать
Вздумает стежку?..
Но враги нагрянули
И в сторожку.

Ввалились,
Обнюхали все в сторожке,
Каждую щелку
В каждом бревешке.

Один говорит леснику
По-русски:

— Ну что ж ты, старик?
Подавай закуски.

Потчуй гостей
Молоком и медом!
Иль недоволен ты
Нашим приходом?

— Да что мне,—
Руками развел Громека,—
Живу я в сторожке лесной
Полвека.

Росой умываюсь,
Заре поклоняюсь,
От суеты
Уходить стараюсь.

А путник заглянет
Ко мне по старинке —
В кадушке есть мед,
Молоко есть в кринке.

Я не нарушу
Отцовских правил...—
И миску с медом
На стол поставил.

Принес молока
Непочатую кринку:
— Пейте и ешьте,
А нам не в новинку!

И немцы ели,
И немцы пили,
Только «спасибо» сказать
Позабыли.

Встав, переводчик
Кивнул Громеке:
— Мы все покорили —
Леса и реки.

И ты, коль к гнезду своему
Привязан,
Нам верой и правдой
Служить обязан.

Ты можешь всегда
Уследить, как леший,
Проедет ли конный,
Пройдет ли пеший.

И все, что откроется
Уху и глазу,
Должно быть известно
Начальству сразу.

Станешь стараться —
Не будешь внакладе,
Начальство представит
Тебя к награде.

А если упрямиться
Станешь сдуру,
С дочкой отправим
В комендатуру.

Там кое-что
Про нее известно...—
Дышать Аленке
В сторожке тесно.

Сидит в сторонке,
Губы кусая...
В сенцах скрипит
Половица косая.

Входит в сторожку
Тоска-остуда!
Надо бежать
Поскорей отсюда!

А если отец
Не захочет, не сможет?

Скажет — ступай себе,
Век мой прожит?

Бросить его.
И обречь на муки?
Сидит Аленка,
Ломая руки!

Кровью по кочкам
Горит морошка...
Стоит на лесной
Поляне сторожка.

Незваных гостей
Проводив на дорогу,
Вернулся лесник
К своему порогу.

Не глядя на дочку,
Сказал натужно:
— Трудно под старость бежать,
А нужно:

Видишь — явились,
Думали, струшу,
Продам, как Иуда,
Русскую душу.

Не знают они
Лесника Громеки,
Обиды такой
Не прощу вовеки.

Дожив до седин
Хорошо иль худо,
Был я леший,
Да не Иуда.

Совесть берег свою
Пуще клада,
Дочке краснеть
За меня не надо...—

Позолотил
Закат подоконник,
Крепче запахли
Шалфей и донник.

Вскрикнул дергач
Пронзительно, звонко.
Встала,
Отца обняла Аленка.

Слезы вытерла
Втихомолку,
Пожитки свои
Собрала в кошелку.

Вышла в остатний раз
На крылечко.
В сумерках
Смутно лепечет речка.

Меж облаков
Висит над поляной
Месяц,
Как бубенец стеклянный.

Он легким звоном
Наполнил тело,
Велел, чтоб сердце,
Как скрипка, пело.

Песню разлуки,
Песню печали,
Конца которой
Не знаешь вначале.

Которая прямо
Из сердца струится,
Словно живая вода
Из криницы.

Аленка стоит,
Опустив ресницы,

Пьет
И никак не может напиться.

Поет,
Не зная конца вначале,
Песню разлуки,
Песню печали.

Вторая песня Аленушки

Прощай, до свиданья,
Сторожка лесная,
Тропинка витая,
Заря расписная.

Здесь слушали
Детский мой лепет березы,
Смешались с росой
Мои первые слезы.

Здесь ветры
Мою колыбельку качали,
А звезды, как сестры,
Мой сон охраняли.

Отсюда,
Когда подросла я, мечтая,
Вела меня вдаль
Журавлиная стая.

Где б ни была я —
От любого предела
Сюда мое сердце
Как птица летело.

Но немцы
Сторонку мою полонили,
Большую зарю
От меня заслонили.

Сожгли мое небо,
Просторное, в звездах,
Украли мой хлеб,
Отравили мой воздух.

Пойду, распростившись
С отцовским порогом,
Размыкать тоску
По тропам и дорогам.

По всем пепелищам
Родного края,
Врагов проклиная,
Друзей собирая.

В бору закукую
Бездомной кукушкой,
Сожженной ветлой
Наклонюсь над речушкой.

Нырну в омута
Краснoперой плотицей,
Там радугой встану,
Там вспыхну зарницей.

Побуду везде я,
Покоя не зная...
Прощай, до свиданья,
Сторожка лесная!
. . . .

Сломался девический
Голос негромкий,
Вышел Громека
С ружьем и котомкой.

Спросил: — Ты готова
В дорогу, дочка?
Тогда отойди,
Посиди у пенечка.—

А сам, у крыльца
Опустясь на колени,
Дощатые
Поцеловал ступени.

Встал
И кругом обошел сторожку,
Отвесил поклон
Расписному окошку.

Смахнул слезинку:
— Крепись, Громека.
Неисследимы
Пути человека.

Останься бездомным,
Останься нищим,
Чтоб враг
Над твоим не глумился жилищем,

За стол твой не лез,
Не снимая каски...
Крепись, Громека,
Держись по-солдатски!

Из темного хлева
Вывел корову,
Ступай, мол, отсель
Подобру-поздорову.

Птичьи силки поснимал
И сетки,
Выпустил друга-скворца
Из клетки.

Позвал из печурки
Кошку Матрешку
И сам по-хозяйски
Поджег сторожку.

Потом отвернулся,
Позвал Аленку:

— Ну, дочка, пойдем
За судьбой вдогонку.

Разделим тревоги
Со всеми вместе...—
Аленка прижалась к нему,
Как в детстве.

В глаза заглянула ему,
Как бывало,
И крепко-накрепко
Поцеловала.

Словно избушка
На курьих ножках,
Стояла над речкой
Лесная сторожка.

Всходила заря
На ее крылечко.
Сгорела сторожка в ночи,
Как свечка.

В стан партизанский,
В глухую засеку
Тропа привела
Лесника Громеку.

И стала лесная судьба его
Сказкой.
Песней сделалась
Партизанской.

А песне да сказке
Пути коро́тки...
И не было немцам
Житья в околотке.

Снимались средь белого дня
Часовые,
Склады взрывались
Пороховые.

Обозы
Найти не могли переправы,
И под откос
Летели составы.

И все говорили:
«Уж это точно,
Если не сам Дорофей,
То дочка».

В лесу они знают
Каждую ветку,
Синиц и дроздов
Посылают в разведку.

Ходят в засаду с ними
Медведи,
Лисицы приносят им
Всякой снеди.

Звезды стоят у них
На карауле,
Ветры относят
Вражьи пули.

Ветлы указывают
Переправы,
След от погони
Скрывают травы.

И пусть объявили
Немцы приказом,
Что пойман Громека
И с дочкою разом,—

Как прежде,
Желтел комендант от досады,
Как прежде,
Повсюду горели склады,

Обозы
Найти не могли переправы,
И под откос
Летели составы.

И все говорили:
«Уж это точно,
Жив и лесник Дорофей
И дочка!»

За темные горы,
За синие реки
Прошла партизанская
Слава Громеки!





БАЛЛАДА О МАЛЕНЬКОМ РАЗВЕДЧИКЕ

В разведку шел мальчишка
Четырнадцати лет.
— Вернись, когда боишься,—
Сестра сказала вслед.—

Вернись, пока не поздно.
Я говорю любя,
Чтоб не пришлось в отряде
Краснеть мне за тебя;

Чтоб не пришлось услышать
Мне шепоток ребят:
«У этой у девчонки
В разведке струсил брат...»

Мальчишка обернулся:
— Ну, не пытай ума.
Идти в разведку, знаю,
Просилась ты сама.

Мне ссориться с сестренкой,
Прощаясь, не под стать.
Но командир отряда —
Он знал, кого послать.

И командир отряда
Решил послать меня.
Прощай, дано мне сроку
Всего четыре дня...

Цвел на лесной поляне
Туманный бересклет.
В разведку шел мальчишка
Четырнадцати лет.

Отец на фронт уехал
Москву оборонять,
Фашисты посадили
За проволоку мать.

Из опустевшей хаты,
От милых сердцу мест
Ушел с сестренкой вместе
Он к партизанам в лес.

И командир отряда
Сказал им: — У меня
Все будут вам соседи,
Все будут вам родня.

А чтоб пути открыты
Вам были по лесам,
Науке партизанской
Вас обучу я сам.

И на какое б дело
Ни уходил отряд,

Ждала сестренка брата,
Искал сестренку брат.

И вот один сегодня,
Когда вставал рассвет,
В разведку шел мальчишка
Четырнадцати лет.

А с палкой-попирашкой
Да с нищенской сумой
Через луга и пашни —
Такому путь прямой.

Ни разу не присел он
За долгий летний день,
И обошел немало
Он сел и деревень.

Везде фашистских точно
Он сосчитал солдат,
Чтоб командир отряда
Не вышел наугад.

Покинуть собирался
Ночлег дорожный свой,
Едва рассвет забрезжил
На тропке полевой.

Но говорит хозяйка:
— Пожить придется тут:
Каратели отсюда
На партизан идут.

На каждом перекрестке
Поставлен часовой;
Кто выйдет из деревни —
Ответит головой.—

А он сказал: — Ну что же,
Семь бед — один ответ...—
В разведку шел мальчишка
Четырнадцати лет.

Пусть всюду по дорогам
Поставят пушки в ряд —
Он должен возвратиться,
Предупредить отряд.

От выстрелов качнулся
Высокий частокол,
И часовой немецкий
Мальчишку в штаб привел.

А в штабе сам начальник
Скосил сердито глаз.
— Что, партизан? Повесить!
Я отдаю приказ!

Но если ты расскажешь
Мне про твоих друзей,
Сейчас же возвратишься
Ты к матери своей...

Среди деревни врыты
Дубовых два столба.
Струится у мальчишки
Кровавый пот со лба.

Не замедляя шага,
Он поглядел вокруг.
Под пыткой не заплакал,
А тут заплакал вдруг.

Вновь офицер подходит:
— Что, страшно умирать?

Скажи, о чем ты плачешь,
И ты увидишь мать!

— Я плачу от обиды,
Что, сидя у костра,
«Не выдержал мальчишка»,—
Подумает сестра.

Ей не расскажет ветер,
Что заметал мой след,
Как умирал мальчишка
Четырнадцати лет.



СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА

— На жаркое дело ушел отряд,
Назад не вернется до солнышка.
А ночь темна,
А раны болят,
Сестрица моя, Аленушка.

Фашисты придут —
Вздохнуть не дадут,
Всю вытряхнут душу — до донушка.
Закрой же дверь,
Останься тут,
Сестрица моя, Аленушка!

Ты слышишь, как плачет филин навзрыд,
Глухая, лесная сторонушка...—
Склонясь к изголовью его, говорит
Сухими губами Аленушка:

— Скрипит под ногой часового наст,
Застыл пулемет у пёнушка.
В обиду тебя никому не даст
Сестрица твоя — Аленушка!

МАТЬ

В поле с ветром шепчется осина,
Хмурит ель в бору седые брови.
На войне у матери три сына,
Три невестки дома у свекрови.

Снег, как соль, рассыпан в звездном блеске,
Каравай луны совсем не начат.
Соберутся у стола невестки,
Повздыхают о мужьях, поплачут.

Только мать не плакала ни разу,
Не вздыхала о разлуке горькой
С той поры, как, верные приказу,
Сыновья простились с ней под горкой.

Ей недолго жить на белом свете,
Что ни день — ее все у́же стежка,
А посмотрит — у невесток дети,
Надо каждой пособить немножко.

Сядет потихоньку в уголочке,
Будто горя нет и на копейку:
То для внука штопает чулочки,
То для внучки ладит душегрейку.

И не слышит вьюги-завирухи,
Что в полях шатает перелески.
— Каменное сердце у старухи,—
Говорят, наплакавшись, невестки.

Что ж, печаль у матери бесслезна,
Улеглась под сердцем непогода...
Ей поплакать и потом не поздно,
Как сыны вернутся из похода.

НАСЛЕДСТВО



ЯРОСЛАВНА

Путивльский шлях. Полынная тоска,
Твой ждущий взгляд сквозь слезы — синий, синий.
Вошла ты Ярославною в века,
А в терему осталась Евфросиньей.

Ты подвиг свой свершала в тишине,
Смотрела в горе ясными глазами,
Чтоб в час зари на городской стене
Вздохнуть и душу облегчить слезами.

Давным-давно забыли камыши
И стук мечей, и чарок звон заздравный,
Но, голос твой узнав в родной глуши,
Мы повторим не раз под шум дубравный,
Что вдохновенье — тот же вздох души,
Что Евфросинью сделал Ярославной.



К ПОРТРЕТУ ЛОМОНОСОВА

Его влекли и формулы и звуки,
Земные недра и пути светил.
Постигнул он поэзию науки,
Науке дверь в поэзию открыл.

Металлы плавил он, иль трогал лиру,
Иль к телескопу приникал в тиши,—
Во всем являл на удивленье миру
Величье русской жаждущей души.

Нигде, ни в чем не видевший предела,
Упрямо слово претворявший в дело,
Неукротимой страсти не тая,
Он стал в веках звездою путеводной
Для всех, кто шел из глубины народной
К твоим вершинам, родина моя!

ТЕНЬ ПУШКИНА

НАЧАЛО ВЕКА

Год родился. Но то не просто
Был новый год, а новый век.
Век девятнадцатый. Он тоста
Ждал, озираясь из-под век.

Но переглядывались гости,
Еще не зная, что сказать,
Кого назвать им в первом тосте,
Чего столетью пожелать.

И кто-то вдруг сказал: — Ну что же,
Давайте выпьем за того,
Кто будет веку всех дороже,
Кто станет гордостью его!

Пусть этот жребий уготован
Тому, кого меж нами нет,
Пусть мы не знаем — где он, кто он
И наш услышит ли привет.

Пусть!..— И бокалы зазвенели,
И расплескались голоса.



И мальчик маленький с постели,
Разбужен шумом, поднялся.

Протер ручонками глазенки
И усидеть впотьмах не смог.
Босой, в помятой рубашонке
Шагнул на свет через порог.

Как будто был пред ним размотан
Клубок, что в путь ведет без вех.
И пошутил отец: — Так вот он,
Тот, кем гордиться будет век!

А он, прищурившись от света,
Стоял в сиянье золотом.
...Кто знал тогда, что шутка эта
Не раз припомнится потом!

Что мальчик, смуглый и кудрявый,
Пойдет судьбе наперекор,
Чтоб русской песней, русской славой
Гремел страны родной простор.

Любую встретит непогоду
Он с непреклонной головой,
Любовь, и дружбу, и свободу
Прославит в век жестокий свой.

Но далеко еще до ссылки,
До славы тоже далеко...
Стреляют пробками бутылки,
Кипит и пенится клико.

А сон идет, глаза туманя,
Сгущает сумрак голубой.
И няню мать зовет, и няня
Уносит мальчика с собой.



ЛИЦЕЙСКИЕ САДЫ

Как позабыть лицейские сады,
Где пробудилась юность до звезды
Под звуки труб двенадцатого года,
И воинов, спешивших в ратный строй,
И музу, что назвалась их сестрой
В большие дни великого похода?

Под куполом осенней синевы
Оттоль ты видел и пожар Москвы,
И бегство потрясенного француза.
И вдруг, как будто заглянув вперед,
Постигла все, чего отчизна ждет,
Твоя навек взволнованная муза.

ПОД НЕБОМ БЕССАРАБИИ

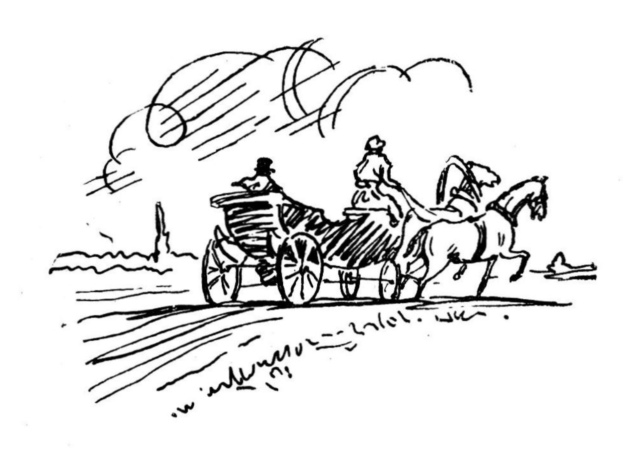
Еще вольнолюбивой музы лаской
Не насладился в Петербурге он,
И вот уже, на ссылку обречен,
Томится пестрой скукой бессарабской.

Томится? Нет! Он тем же хмелем пьян,
И здесь нашлись друзья у непоседы.
Есть вольные застольные беседы
И песни в шумном таборе цыган.

Есть молодость — душевных сил избыток,
Есть радостная вера в свой народ.
А в сердце новый замысел поет,
Родившийся в тени степных кибиток.

Он сварит из него такой напиток,
Что бросит в жар и охладит как лед.





29 ИЮЛЯ 1824 ГОДА

То лазурно море, то пунцово.
Плеск волны, как безответный зов.
Доброй ночи, Лиза Воронцова,
Доброй ночи и счастливых снов!

Пусть в судьбу опального поэта
Вы тревоги новые внесли,
Он вам благодарен и за это,
Полный чар разбуженной земли.

Подневольный путник, завтра снова
Он вздохнет под говор бубенцов.
Ждет его, как в сказке, бор сосновый,
Ветхий дворик, одинокий кров.
Доброй ночи, Лиза Воронцова,
Дай вам бог дурных не видеть снов!

В МИХАЙЛОВСКОМ

Старый дом, утонувший в сугробах, запущен.
По ночам, как живой, он кряхтит в тишине
Неужели и вправду сидел с ним тут Пущин,
Неужели он видел его не во сне?

Неужели и впрямь от лицейского друга
Он услышал великой надежды слова,
Что сгубила не все леденящая вьюга,
Что Россия для подвигов новых жива?

Нет, недаром слова были сказаны эти
Здесь, под пасмурным небом в пустынном дому.
Значит, помнят друзья об опальном поэте,
Значит, ждут его слова и верят ему.

Значит, родина в очи бессонные сына
Заглянула, любви и тоски не тая...
Не вздыхай, пригорюнясь печально, Арина
Родионовна, добрая няня моя!

Все свершится. Для подвигов срок не пропущен,
Если тесно от замыслов новых в груди.
Первый след сквозь снега проложил сюда Пущин,
А какие дороги еще впереди!

Кто предскажет поэту, что близится время,
На Сенатскую площадь сойдутся друзья.
И оплачут их вьюги, ревущие ревмя,
В том пути, где назад оглянуться нельзя.

Что, без них возвратившись в столицу, сквозь годы
Будет он одиночества бремя нести,
Чтоб, прославивши первенцев русской свободы,
Рядом с ними бессмертье в веках обрести,



ВСТРЕЧА НА ПУТИ В АРЗРУМ

Холмов тяжелые горбы,
Сдвигаясь, морщатся от зноя.
Ворвался в уши скрип арбы,
И гроб возник над крутизною.

В ярме два медленных вола,
Их трудный путь начался рано.
Он наклоняется с седла:
— Откуда гроб?
— Из Тегерана.

И что-то вдруг оборвалось,
Как этот камень, слово жестко.
— Так вот где встретиться пришлось
С тобой, блистательный мой тезка!

О, сколько вычеркнет имен
Граф Бенкендорф по черным спискам —
Все, кто талантлив, кто умен,
Не ко двору царям российским.

Тот — в каземате, тот — в гробу...
Я тоже вижу злую мету.
И, с вами разделив судьбу,
Недолго поброжу по свету.

Спешу в далекие края —
И там ничто не тешит взора.
Когда ж, о родина моя,
Переживешь ты дни позора?

На перекрестке всех дорог,
Где и столбы глядят с опаской,
Я говорю:
— Зачем не мог
Ты пасть на площади Сенатской?





БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ

Наступает октябрь. Дождик сеет весь день, как из сита.
Придорожные ветлы увязли в грязи до колен.
В доме тихо и пусто, но сердце тревогами сыто.
Может, к лучшему этот нечаянный болдинский плен?

Не пробраться в Москву. Все деревни вокруг и усадьбы
Оцепил караул, и повсюду грозит карантин.
Коль чума не подцепит, так можно подумать до свадьбы
Обо всем, что приходит, когда остаешься один.

Да, один на один с пережитым далеким и близким,
С шумом желтой листвы, опадающей с мокрых ветвей,
С низким небом осенним, с великим простором
российским,
И с судьбою отчизны, что стала судьбою твоей.

Да, судьбою твоей. Ты за все перед нею в ответе:
За друзей и врагов, за минувший и будущий день,
За свое вдохновенье, за песни раздольные эти,
Что, минуя заставы, летят изо всех деревень.

Может, в этом и счастье? И, если забудет невеста —
Виновата не осень, не версты размытых дорог,
Даже не карантины, а то, что надежного места
Ты с судьбой беспокойной найти в ее сердце не мог.

Что бы там ни случилось, свечу не гаси до рассвета,
И на твой огонек соберутся простые сердца.
Станционный смотритель тоскует по дочери где-то...
Что прекрасней на свете любви и печали отца!

За окошком заря чуть видна в предрассветном тумане,
Смутно избы сереют. Пусть осень, как скряга, скупа:
Есть хорошая сказка, что слышал ты в детстве от няни,
Как работник Балда одолел и чертей и попа.

Значит, можно дышать, и тревогами сердце не сыто,
Значит, к лучшему этот нечаянный болдинский плен.
...Уж совсем рассвело. Дождик сеет, как будто из сита,
Придорожные ветлы увязли в грязи до колен.

Как опавшие листья, опавшие дни постепенно
Потемнеют, истлеют, и в смутные сумерки их
Снег забвенья прикроет. Но будет вовек незабвенна
Эта осень, как правда надежд и раздумий твоих.



ПЕРЕД ДУЭЛЬЮ

Данзас мой! Друг лицейских лет!
Судеб разорвана завеса,
И ты ль откажешь пистолет
Мне приготовить на Дантеса?

Да будет кровью спор решен!
С меня довольно светской скверны...
Обходят нас со всех сторон
Шпионы, сводники... Геккерны...

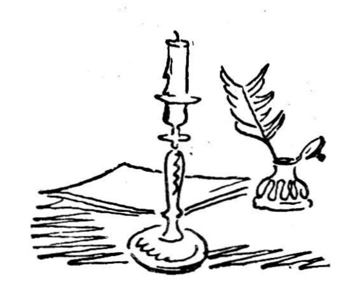
Вот если б мне сего посла
Пришлось поставить у барьера
И всех и всех — им несть числа,—
Деяний чьих забыта мера.

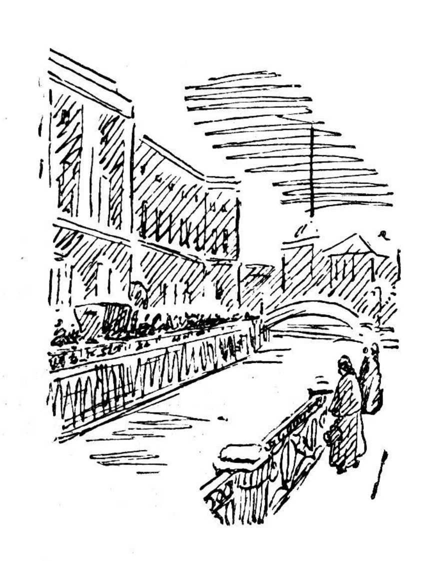
Нет, между нами говоря,
Я не был и тогда б спокоен,
Пока... Но подданный царя
О том и мыслить недостоин.

Что ж делать мне в моей стране,
Напитка вольных муз отведав?..
Стал в полуночной тишине
Мне чаще сниться Грибоедов.

Все, кто повешен, кто убит,
Придут и станут к изголовью.
Данзас! Душа моя скорбит,
Не заглушить тревог любовью!

А сей Геккерн, сей мудрый муж,
Как струсил, старая собака!
Пора. Давно пора. К тому ж
Ответ уже у д'Аршиака.





БЕССМЕРТИЕ

Нет, не помогут доктора...
Он обречен и знает это:
Милей, чем хладный блеск двора,
Тьма гробовая для поэта.

«Пускай не плачет Натали
Над присмиревшим непоседой.
Иди, Жуковский, утоли
Мой дух последнею беседой.

Поклонник вдохновенных строк,
Ты утешал душевным словом.
Но знал ли ты, как одинок
Я был в пути моем суровом?

Я только с нянею одной,
В глуши ночной, под шум метели,
Входил, бывало, в мир родной,
Куда и вы войти не смели.

Там с нею мог я отдохнуть,
Стряхнув, как пыль с плаща, усталость...
Она ушла в последний путь,
И мне немного ждать осталось.

Ты плачешь? Друг, не нужно слез,
Увидят дальние потомки,
Что свет немеркнущий пронес
Я сквозь ненастные потемки.

Слабеет голос мой. Приблизь
Ко мне внимающее ухо...»
...Сухие губы запеклись,
И вздох в груди отдался глухо.

А Петроград уже шумел,
И после декабря впервые
Спешили от вседневных дел
Студенты и мастеровые.

Они заговорят в свой срок,
Их брови сдвинуты сурово.
Нет, нет! Ты не был одинок!
В сердцах запечатлелось слово!





МУЗЫКА

I

Всю ночь на цыпочках ходили в доме,
Лампады жгли. Рожала госпожа.
И даже сад в предутренней истоме
Стоял, прислушиваясь, чуть дыша.

С зарей раздался первый крик ребенка,
И в тот же миг в густой тени аллей
В ответ ему торжественно и звонко
Проснувшийся защелкал соловей.

И пусть твердят нам, что легенда это.
Нам все равно. Мы сердцем верим ей.
На крик ребенка песней в час рассвета
Не мог не отозваться соловей.

Ведь мы-то знаем хорошо о том,
Что тот ребенок Глинкой стал потом!



II

Звонили в сельской тишине церквушки,
В саду скликались птицы по кустам,
А ночью лезли сны из-под подушки,
Все тени сказок, прятавшихся там.

Так детство шло. И вдруг — война, тревога.
Дом заколочен. Брошен мирный кров.
С тех пор навек запомнилась дорога
И песни ополченцев-мужиков.

Далекие раскаты громовые
И облака, бредущие вразброд...
В тот год, наверно, понял он впервые,
В пути встречая грозовой восход,
Что не село — отчизна, а Россия,
Что, кроме слуг господских,— есть народ!



III

Что до того — церковным ли трезвоном,
Запевками ль смоленского села,
Иль соловьиным посвистом влюбленным
Навеки в душу музыка вошла!

Она вошла и распахнула двери,
Велела спесь дворянскую забыть.
Не думать о богатстве, о карьере,
В искусстве трудном подвиг полюбить.

Постигнуть всё. И всё начать сначала.
Остаться без семьи и без жилья.
Стареть вдали от отчего причала,
Нигде покоя сердцу не суля.
Чтоб только песня русская звучала,
Широкая, как русская земля!



IV

Опять приснилось детство в Новоспасском,
Где задремала над Десной ветла,
Где на заре старик пастух с подпаском
С жалейками проходят вдоль села.

Где в час полдневный на любой полянке,
С горячих щек не вытирая пот,
Склонясь над сыном, голосом крестьянки
Россия о судьбе своей поет.

Душа звенит и снова верит чуду,
Забудь же одиночество свое,
Забудь друзей постылую остуду,
Ступай в поля, в крестьянское жилье...
Ведь музыку творит народ повсюду,
А мы — лишь аранжируем ее.

V

Среди имен, что до́роги нам с детства,
В чьих звуках гордость родины слышна,
Есть два особо дорогих для сердца —
То Пушкина и Глинки имена.

Их кровное родство, а не соседство
На вечные связало времена.
В том, что от них осталось нам в наследство,—
Душа родной страны воплощена.

Душа страны, в которой так чудесно
Слились народа русского черты:
Спокойное величье простоты,
Открытость в дружбе, стойкость в битве честной
И вера в правду высшую мечты,
Что нам звучит, как музыка, как песня!





В СПАССКОМ-ЛУТОВИНОВЕ

Л. Н. Афонину

Вздыхает парк, кусты черемух вспенив,
Прислушиваясь к перекличке птах.
Мы ждем: вот-вот появится Тургенев
В видавшей виды шляпе, в сапогах.

Широким шагом он пройдет сквозь годы,
Как сквозь чащобу проходить привык,
Охотник, нелукавый друг природы,
Из детских снов серебряный старик.

Придет и остановится под дубом,
Окрестность взглядом озарит своим,
И все, что в жизни нам казалось грубым,
Вдруг станет ясным, добрым и простым.
Покличешь — и деревья отзовутся...
Не в этом ли все волшебство искусства!

ПОЭЗИЯ И ЖИЗНЬ

Памяти И. С. Никитина

I

Заплаканные окна. В тусклом свете
Унылый вид, знакомый с давних пор.
Мечтал учиться в университете,
А угодил на постоялый двор.

О, как судьба умеет насмехаться
Над тем, кто жаждой подвига томим,
С барышником научит торговаться,
Вести беседу с бурлаком хмельным.

Считать полушки и у печки жаркой
Браниться с привередливой кухаркой
Да купчиков заезжих угощать.
Так дни идут. Но, как судьба ни каркай,
Тоски не станет заливать он чаркой,
Он должен, он сумеет устоять.

II

Все улеглось. Ворота на запоре,
На кухне замолкают голоса.
А он не спит. Ему приснилось море,
Невиданная наяву краса.

Он зажигает свечку. Как ни худо,
Есть у него крылатые слова.
Он может с ними улететь отсюда
Туда, где свет — лазурь и синева.

Туда, где душу не томит забота,
Туда, где радость плещет через край.
Но, чу! стучат извозчики в ворота!
— Савельич, где пропал ты? Отпирай! —
Скрипят возы идут со всех сторон.
Он гасит свечку. Снова дворник он.

III

Да, дворник он, но в нем души не чают
Почуявшие волю мужики.
Савельичем по-свойски величают,
Развязывают души, как кульки.

Ему мирская доля не обуза,
Он слышит все сквозь этот шум и гам.
И зря влечет неопытная муза
Его к иным, нездешним берегам.

Там все звенит, но он сюда вернется,
Расправив плечи, возмужав душой,
Лишь о своем по-своему поется,
А он не хочет песни петь чужой.
Он будет пить из своего колодца
И ковш найдет в полыни под межой.

IV

По горло сыт пустой, обидной лаской
Высоких покровителей своих,
Покажет он: какой живет закваской
Его под сердцем накипевший стих.

Пусть под окном снега лежат навалом
И кажется, пути-дороги нет,—
Он на дворе прошел, на постоялом,
Народной жизни университет.

Клубок судьбы еще не весь размотан,
Еще справлять не время торжество,
Но песню полным голосом споет он,
И станет песня подвигом его.
Коль не к жене, так к сыну ямщика
Найдет дорогу честная строка.





ЛЕВ ТОЛСТОЙ

I

Есть Рим и Вена, Лондон и Париж.
Светильники и алтари Европы,
А тут холмы соломенные крыш,
Мужицким лаптем выбитые тропы.

Звон бубенцов сливается вдали
С щемящей песней, становясь все глуше...
Так почему ж со всех концов земли
Сюда стремятся жаждущие души?

Чем врезан в сердце каждый поворот
Дороги, выходящей из тумана?
Чем эта глушь навеки осиянна?
Из уст в уста передает народ:
— Тут совесть неподкупная живет,
Тут Лев Толстой, тут Ясная Поляна.

II

Кто он? Гомер и вместе Гезиод,
Всей жаждой века наделенный гений!
Познал он тайну мировых сражений
И радость мирных, будничных забот,

Но, вознесенный на Олимп, как бог,
Он не забыл, как сладко пахнет липа,
Как горько плачет ива. И с Олимпа
Спустился вниз, на прах земных дорог.

Презревший барства суетный удел,
В глаза судьбы он заглянул без страха,
Ему к лицу мужицкая рубаха,
И он ее, как мантию, надел.
Нет, не надел, а принял, полный сил,
Все то, что на плечах народ носил!

III

Пока бродили силы, как вино,
Казалось все и празднично и ново,
Теперь он знает: делом стать должно
В глубинах сердца вызревшее слово.

Проникнуть в суть явлений и вещей,
Открыть их душу, дать им смысл единый,
Чтоб липким взглядом никакой Кощей
Не обволок их серой паутиной.

А коль такого слова в сердце нет,
Он сам положит на уста запрет
И станет даже у детей учиться
В полях и на лугах искать слова,
Где свежесть первозданная жива
И солнцем в капельке росы лучится.

IV

Одна лишь власть — власть покорять сердца —
Ему нужна. И, в силу этой власти,
Он смеет быть правдивым до конца,
Вникать в людские помыслы и страсти.

Он знаменит. Ему дивятся все...
Все? Нет, не все! И гром стихает, грянув.
Тому, кто босым ходит по росе
В чужих полях, не до его романов.

Тот, кто не видит этого, ослеп,
А у него на все глаза открыты.
Пока голодный не получит хлеб,
Бесстыдно печь для сытого бисквиты.
И к совести, возмездием грозя,
Взывает он: так больше жить нельзя!

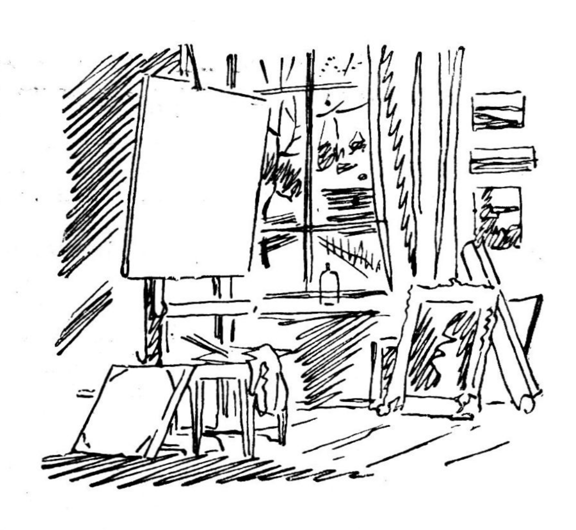
V

Так жить нельзя! А как? Возьмись за плуг,
Паши и сей, чтоб быть с народом вместе...
Но полыхают зарева вокруг,
И раскололась тишина поместий.

Неужто это напророчил он
Евангельской легендой, притчей, сказкой?
Нет, неспроста от церкви отлучен
Мужицкий граф, бунтарь яснополянский.

Ну что ж! От церкви отлучить могли,
Но отлучить не смогут от народа.
Он — совесть пробудившейся земли,
Он — голос получившая природа.
С Россией вместе он войдет в века,
Художник, маг в обличье мужика!





ЛЕВИТАН

I

Мы возмужаем и верней оценим
Простые краски, точные слова.
Вот снова светит в золоте осеннем
Чуть тронутая солнцем синева.

И если ты художник, если зорок
Твой меткий глаз и обострен твой слух,
Туманной тропкой выйди на пригорок,
Прислушайся и оглянись вокруг.

Перед тобой, как странницы босые,
Воспоминанья летние тая,
Бредут березы в дальние края,
А ветер тени путает косые,
Шумят грачи. Так вот она, Россия,—
Твоя любовь, бессонница твоя.

II

Смерть не страшна. Безделье хуже смерти.
С тоской не разлучается оно.
Раскинуто окно. И на мольберте
Укреплено тугое полотно.

Прозрачен день. Вглядись и кисти вытри.
Ты мастер. Будь расчетлив, строг и прост.
Есть тишина, есть краски на палитре,
Чтоб звон листвы перенести на холст,

Повесить паутинки золотые
Пустить тропинки по лугу витые,
Колючей щеткой выровнять жнивье
И, оглянув пустынное жилье,
Забыть про все. Перед тобой Россия —
Твоя любовь, бессмертие твое.

III

Меж русскими, быть может, самый русский,
Ты словно память детства нам сберег
И пруд забытый с мельницей-раструской,
И ветхий дворик, и туманный стог.

Преодолев житейские тревоги,
Ты видел: сыновья моей земли
По каторжной Владимирской дороге
В распахнутое будущее шли.

Над их судьбой задумавшись впервые,
Ты вспомнил все тропинки полевые
И отсвет зорь на берегу ручья.
Ты понял: сны и чаянья людские
Такой же явью сделает Россия —
Твоя любовь, бессонница твоя.

IV

Здесь молодость твоя, талант и слава,
Все, что сбылось, что снится наяву.

Есть у любви незыблемое право
На льющуюся в душу синеву.
На эту даль, на эти горизонты,
Поля, опушки, милые до слез,
Где на заре вечерний слушал звон ты,
Где золотой тебе открылся плес!

Пусть в трудный час витии записные
Придут к тебе, чернильный яд струя,
И перьев их вонзятся острия
В твою тоску. Исчезнут тени злые,
Как сына, осенит тебя Россия,
Сама Россия, родина твоя!





ЧЕЛОВЕК

Ветер странствий, соленый и горький,
Им да звездами юность полна.
В море бриз. Апельсиновой коркой
За лиманом желтеет луна.

Степь лежит молчаливо и мудро,
Одиноких раздумий сестра.
Быль иль небыль намедни под утро
Рассказал этот старый Чудра?

Не ответишь вовек — и не надо,
Только б верилось в дни неудач:
Волю девушки ценят, как Радда,
Парни любят, как Лойко-скрипач.

А еще... не наврала цыганка,
Указала она: погляди,

Поднял сердце горящее Данко,
Чтобы путь озарить впереди.

Не о том ли мечтает он с детства,
Затаив неребяческий гнев,
И прислушаться и приглядеться
К человеческим судьбам успев.

Дед Каширин, кунавинский книжник,
Поучал, за виски теребя:
— Коль рубашки не снимешь ты с ближних,—
Значит, ближние снимут с тебя.

Враки! Снимет рубашку хозяин,
Если будешь покорен, как вол.
И от нижегородских окраин
Он до Черного моря дошел.

Вьется в небе над ним спозаранку
Журавлей путеводная нить.
Если в мире не сыщется Данко,
Он сумеет его заменить!

Ветер странствий, соленый и горький,
Им да звездами юность полна.
В море бриз. Апельсиновой коркой
За лиманом желтеет луна.





ТВОРЧЕСТВО

С. Т. Коненкову

I

Лесной, дремучий Ельнинский уезд.
Кряжи дубы да липы в три обхвата.
Земля трудна, но знали все окрест,
Как работящи мужики — Конята.

Никто здесь хлеба легкого не ест...
Обычай дедов соблюдая свято,
Здесь даже парни, высмотрев невест,
Рядили свах, покуда рожь не сжата.

Семья росла, а в ней из года в год
Трудились все, от мала до велика.
Во всем был свой порядок и черед:
Кто шел косить, кто драл на лапти лыко.
Так меж других детей взрастал и тот,
Кого судьба иная позовет.

II

Трещит мороз. Трещит в избе лучина,
Стучат кросна, веретено жужжит,
А мужики сидят по лавкам чинно,
Захожий шорник сказки говорит.

Ах, этот шорник, ну и молодчина!
Какой чудесный мир ему открыт...
Но шорник смолк. Отец глядит на сына:
Все дети спят, лишь он один не спит.

Сидит, колени обхватив руками.
Вот только что летел под облаками
Он на ковре на самолете сам.
Живую воду черпал из криницы,
В тряпице у него перо жар-птицы...
И сердце бьется, верит чудесам.

III

Легко дышать весной в лесу глухом,
Где столько любопытного для взора.
Вон у поляны пень, обросший мхом,
Глядит с лукавством пчеляка Егора.

Вот-вот покличет: ну-ка, батькин сын,
Ступай сюда встречать лесные зори...
А этот дуб меж кленов и осин
Задумался, как дядюшка Григорий.

Что ни коряга здесь — то мужичок
С тяжелыми руками, с легким взглядом.
В тиши шепнет словечко — и молчок,
Как будто кто-то злой таится рядом.
Ах, если б был он добрый чародей,
Из всех деревьев вызвал бы людей!

IV

Край детства. Ты начало всех начал.
В тебе на сказку было все похоже.
Монах-расстрига чтенью обучал,
А живописи — богомаз захожий.

Что в том, что лики у святых скупы,
Глаза того, кто пишет их, бездонны.
И освящали нехотя попы
Расцвеченные мальчиком иконы.

Но в мальчике уже художник жил —
Мужицкого напористого склада.
И дядюшка Григорий порешил,
Что племяша отдать в науку надо.
Авось прославит свой мужицкий род,
Всех работяг, кто до зари встает.

V

Не позабыть тех милых сердцу мест,
Где так мечталось у костра лесного.
К тропинкам детства в Ельнинский уезд,
Как в дни каникул, потянуло снова.

Как хорошо пройтись там по росе,
Чтоб луг шумел: ступай смелей, не бойся,
И по проселку выйти на шоссе,
Где в первый раз увидел камнебойца.

Узнал он сразу в камнебойце том
Того, кто путь в грядущее мостит нам,
Склонясь, как пред учителем маститым,
Пред тем, кто спину разгибал с трудом.
Он в бронзу отольет его, чтоб мог
Народ почтить строителя дорог.

VI

И дерево, и камень, и металл —
Все мастеру упорному подвластно.
Все воплотит, что воплотить мечтал,
Тот, кто в мечту свою поверил страстно.

Он свежий ветер чувствует у щек,
Он трудится легко и вдохновенно,
Чтоб вышел Старичок-полевичок
На вольный свет из векового плена.

Он взял резец, чтобы прозрел слепой,
Набрался сил, кто слабым был доныне;
Он все отдаст, чтоб щедрым стал скупой,
Как скрипка под смычком у Паганини;
Чтоб взгляду русской девушки простой
Завидовали древние богини.

VII

Он у руин Акрополя бродил,
Где пахнет пыль и сладостно и горько,
Под ним плескался полноводный Нил,
Его пленял бессонный шум Нью-Йорка.

Что ж, мир широк, дороги далеки,
А красота везде подобна чуду,
Но ельнинские снились земляки
Прославленному мастеру повсюду.

Был каждый взгляд их так ему знаком,
Как будто он всю жизнь лишь с ними знался.
Ведь сердцем с ними он не расставался
И, жадной жаждой все познать влеком,
Трудягой, мудрым русским мужиком,
Достигнув славы мировой, остался.

VIII

Он в юности о славе, как о чуде,
Мечтал,— и вот, как в юности близки,
По русскому обычаю, на блюде
Хлеб-соль ему подносят земляки.

А перед ним — вся сторона родная,
С полынным зноем, с мятной тишиной.
И, голову седую наклоняя,
Он истово целует хлеб ржаной.

Не к теплой корке прикоснулись губы,
Ко всем, чье сердцу дорого родство.
И что ему всемирной славы трубы,
Что громких юбилеев торжество!
Ваш скромный дар, простые трудолюбы,—
Вот высшее признанье для него!





СКОМОРОХ ОВСЕЙ КОЛОБОК

Поэма

I. Толкучий рынок

У кружала толпится гулящий народ,
Ловят нищие черствые крохи,
И, толпу раздвигая ярыжка орет:
— Сторонитесь, идут скоморохи!

Скоморохи идут, короб смеха несут,
Торбу присказок свежих, горячих
Про боярский ли суд,
Про неправедный суд,
Про попов,
Про дьяков,
Про подьячих.

Сторонись, кто не слеп, сторонись, кто не глух,
Притаись, словно девка в горохе.
Затихает народ, раздвигается круг,
И выходят на круг скоморохи.

Впереди выступает, дороден и сед,
В колпаке из бересты боярин.
Он умаялся. Мо́чи у старого нет.
Красный весь, будто в мыльне распарен.

— Охти мне,— говорит,— как не вымотать жил
Мне в заботах, трудах неустанных?
Трем царям,— говорит,— я прямил и служил,
Был боярином ближним в трех станах.

Трем царям отдавал я боярскую честь,
Что же чести боярской дороже?
От Василия Шуйского грамота есть,
От калужского царика — тоже.

Третью дал Жигимонт. Помогал сколько мог
Возвести на престол Владислава.
Был в трех лицах един, яко бог Саваоф,
И до смерти умаялся, право.

А второй скоморох отвечает ему,
Пыль взметая боярским кафтаном:
— Где же были твои сыновья, не пойму,
Что один ты в труде неустанном?

Я ж спокойно своих сыновей разошлю,
Мной указано каждому место:
Первый служит Василью,
Второй — королю,
А уж царику — младший, известно.

А когда Владислава избрала Москва,
Всех троих к Жигимонту отправил.
Кто боярские наши не рушит права —
Тот и царь нам. Держись моих правил.

Неугодных боярам не будет царей,
Не придут в наши вотчины воры...—
А в народе шумят: — Хоронитесь скорей,
Из кружала выходят жолнеры!

Два жолнера идут на толпу, озверев,
А толпа — будто рой перед ульем.
— Не позволим московскому хлопу, пся крев,
Над панами глумиться, над крулем.

— Отгадайте-ка лучше загадку мою,
Чем пустые вести разговоры.
Я в Москве или в Кракове с вами стою?
— Все равно,— отвечают жолнеры.

— Все равно, да не всем,— говорит скоморох,—
Я не рыцарь, как вы, и не витязь,
А дубинку возьму — не найдете дорог,
Оглянуться назад побоитесь.

— Ого-го,— зашумела толпа.— Скоморох
Правду молвил — огреем неплохо! —
Но жолнер длинноусый от злости оглох
И схватил за плечо скомороха.

— Кто ты, хлоп? Говори!
— Я — Овсей Колобок.
Что оскалился, словно собака?
Я от бабки утек,
Я от дедки утек,
От тебя утеку, забияка!

Мне дорога прямая, открытая в лес,
Лес мне дома отцовского вроде.—
Развернулся, плечами тряхнул и исчез,
Словно в омуте щука, в народе.

А когда не спеша выходил из толпы,
Скомороха окликнул посадский:
— Ты куда, Колобок, направляешь стопы?
Проходи-ка за мной, да с опаской.

II. Разговор в боковуше

По кривым переулкам, по улочкам узким,
Мимо домиков, духом обвеянных русским,

Шел Овсей и прикидывал — нет ли подвоха,
Что посадскому надобно от скомороха?

Не ведет ли его он к шляхетским жолнерам,
Не таятся ль они где-нибудь под забором?

Налетят вороньем: уж теперь-то повесим!
Для того ль он скитался по градам и весям?

Не свернуть ли в сторонку, пока не связали!
А посадский уходит все дале и дале.

А осенние сумерки пусты, туманны.
Запирают свои рундуки торгованы.

По задворкам вечерняя бродит истома;
Окликает посадский: — Ну, вот мы и дома!..

Распахнули калитку, прошли через дворик.
— Дым жилья моего не покажется горек,

Побеседовать будет за чаркой не тяжко,
А зовут меня, ведай, Русанов Ивашка.

Но Овсей оглянулся назад у порога:
— Что посадскому надобно от скомороха?

Улыбнулся посадский: — Входи без сомненья,
На тебя ль мне за пазухой прятать каменья!

Родился я далече, в Смоленском посаде,
На Москве поселился торговлишки ради,

Да от смуты великой торговлишки нету,—
Всех нас польские паны сживают со свету.

В рундуках у меня, как в отцовских владеньях,
Облюбуют товар — забирают без денег.

Как потребуешь платы — берутся за сабли.
Ну, не хлоп ли я польского пана, не раб ли?

Потихоньку в кармане покажешь им кукиш:
Погоди, мол, на саван холста себе купишь!

И повел в боковушу. В пустой боковуше
Не подсмотрят глаза, не подслушают уши.

Покосился Овсей на кивот золоченый,
Оглянул поставец из березы точеный,

Стол с ковригою хлеба, с высокой солонкой,
Серебристые кисти на скатерти тонкой,

Наоконник узорный, полавочник шитый,
Расцвеченный хозяйской рукой домовитой.

На тяжелых подвесках лампады горели,
Озаряя литые судки и тарели.

Все, куда ни взгляни, в боковуше блестело,
И не знал он, куда ему деть свое тело.

На лице, перепачканном сажей и глиной,
Чуть топорщился клок бороденки недлинной.

Под усами колючими прятались губы.
Нет, лужайки просторные больше мне любы!

А посадский, в порядке домашнем уверясь,
Снял намокший колпак, распахнул свою ферязь,

Подошел к поставцу — загремела посуда.
— Белорыбицы будет отведать не худо...

И достал сулею веселящего зелья:
— Ради дружной беседы, не ради безделья,

Не побрезгуй моей небогатой закуской,
Выпьем за избавленье земли нашей русской

От кичливого пана, от крымского хана,
От всего иноземного вражьего стана!

А Овсей: — Скоморошьи гудки да сопели
Уж давно бы им вечную память пропели.

А посадский: — Так что ж не дает скомороху
Созывать на ховтуры народ понемногу?

А Овсей: — Легковерны московские люди.
Скажут мне, скомороху: — Царем у нас буди,

Поиграй золотою державой, как цацкой!
— Ну, какой же ты царь! — удивился посадский.

— А такой же, как Шуйский, он тоже по чину
Перед вами менял скоморошью личину.

И морочил вам головы сказкой нехитрой:
То Димитрий убит, то воскреснул Димитрий.

И внимали московские люди, доколе
Старый плут не уселся на царском престоле.

А уселся, потешил вас новою сказкой
О мощах...—Ну, довольно!—ответил посадский,—

Что напрасно теперь поминать про Василья,
У того у Василья подрезаны крылья.

Семь бояр посадили в Кремле за царя мы,
И неведомо стало, кто кривы, кто прямы.

Видим — продал Мстиславский Москву, как Иуда,
Чтоб княжат сберегали от черного люда,

Утонула боярщина в скверне и блуде,
И решили посадские лучшие люди

С городами списаться, просить порадеть их,
Чтобы смута, как тень, не лежала на детях.—

И подумал Овсей: «Говоришь ты неплохо,
Только что тебе надобно от скомороха?»

— Стал оплотом от лиха Смоленск крепостенный,
Только страшно — не взяли б Смоленска изменой.

Говорят не облыжно про это в народе,
Уж бояре послали указ воеводе,

Чтоб в Смоленск он впустил королевское войско,
Чтобы стал он податливей теплого воска.

Но указ был без подписи без патриаршей,
И его воевода ослушался старший.

Воевода тот — Шейн, он-то крепок в осаде.
Любят все воеводу за то на посаде.

Землякам и держателям славного града
Мне отправить советную грамоту надо.
Пусть узнают о нашей злокозненной жизни,
Порадеют истерзанной смутой отчизне.

— Что же, мне до Смоленска знакома дорога,
Положись без сомнения на скомороха.

Усмехнулся посадский, прищурясь лукаво:
— Вижу я, что гудок у тебя не забава.

III. Смоленская дорога

От города торгового, от Вязьмы,
Казали путь Овсею старики:
— Лаптями протоптали через грязь мы
Тропинку потайную до реки.

За переправой поверни направо,
Бреди в ночи по звездам золотым.
Придешь в Смоленск, скажи, что Владислава
Мы на престол московский не хотим.

Еще скажи смоленским ратным людям,
Что скорбь их слышит русская земля.
Мы животов своих жалеть не будем,
Доколе не прогоним короля.

Обычаев отцов на поруганье
Папежским изуверам не дадим...
Вдали зари холодное мерцанье,
Пороши первой синеватый дым.

Днем Колобок скрывался в перелесках,
На ощупь ночью продолжал свой путь,
Чтоб слышать звон колоколов смоленских,
В бессонные бойницы заглянуть.

И поклониться Шейну: — Мол, для всех ты
Стал стражем русской горестной земли...—
Но у стены Смоленской взяли кнехты
И для допроса в табор повели.

Шел Колобок, по сторонам глазея.
Попался сам, так и держися сам!
Нет, грамоты московской у Овсея
Не отыскать им, королевским псам!

Не перебрать им дудки да сопели.
А пытка — что ж, Овсею не впервой...
Костры дымили, лошади храпели,
Как видно, паны собирались в бой.

Орала шляхта, пьяная на совесть,
И шла вразвалку косяком гусей.
Взглянул на стены города, готовясь
Перед панами отвечать, Овсей.

Но в таборе знакомой русской бранью
Длиннобородый встретил дворянин:
— Куда совал ты голову баранью,
Зачем, скажи, пришел сюда один?
Лазутчиком от Шейна? —

Но смиренно
Поклон отвесил низкий Колобок:
— Я — скоморох, мне море по колено,
А ручеек, что море, мне глубок.

Из края в край ходил я, потешая
Простых людей. Так голова целей,
Я не боярин, борода большая,
Не мне судить да разбирать царей.

Был Дмитрашка царек,
Был Василий царек,
Был Илейка царек,
Был в Тушине царек,
Был в Калуге царек,
Был на Волге царек,
Был в Черкасах царек,
Я — Овсей Колобок,
Ото всех я утек.
Полюбил, скоморох,
Я раздолье дорог.

А кто они — цари аль самозванцы,
Пусть ведомо то будет королю.
— Эй, не дури! Скажи, зачем за шанцы
Пробрался ты? Не то — пытать велю.

— Я брел туда, куда глядели очи,
Да и забрел к вам, в королевский стан.
Тут паны-де до музыки охочи,
Слыхал я мимоходом от крестьян.

Хотел я прибауткой скоморошьей
Панов потешить...
— Ты свое опять?
Ну, так понюхай дыму. Эй, хороший
Разжечь костер. Попробуем пытать.

И вот уж груда хворосту дымилась,
Валялась сумка — спутница дорог.
— Ну что ж, погреюсь, если ваша милость,—
Сказал Овсей,— я до костей продрог.—

А рядом пан скривил брезгливо губы:
— Ну, что за важный пленник? Хлопский шут!
Мы много чести сделали ему бы,
Когда б его огнем пытали тут!

И так забыл он все пути и тропы,
Не доберется до своей дыры.
Пускай московские узнают хлопы,
Как милосердны мы и как добры.

Назад Овсей шагал, как победитель,
Подмигивал жолнерам на ходу:
— Прощай, паны, глядите ль, не глядите ль,—
Куда я брел, туда и прибреду.

Как боярин-то, дурак,
В решето пиво цедил,
В решето пиво цедил,
В сарафан его сливал.
Возьми, дурак, бочку,
Больше нацедишь!

А поп-то, дурак,
Чепелем траву косил.
Возьми, дурак, косу,
Больше накосишь!

IV. Воевода Шейн

Шла ночь, снежок сквозь сито сея
На груды мерзлые земли.
Подняли на стену Овсея
И к воеводе привели.

Лукаво воины у входа
Переглянулись — скоморох.
В доспехах ратных воевода
Встал перед ним, суров и строг.

Войной до времени состарен,
Пытливый взор его тяжел.

— Откуда?
— Из Москвы, боярин,
С советной грамотой пришел.

— Так где же грамота?
— В сопели.
— Ах, скоморох, ты бес почти!
Не дьяки перьями скрипели
Над этой грамотой... Ну чти!

И Колобок читал:
— Радея
К тебе, о русская земля,
За сердце жадное злодея
Смоляне держат короля.
Доколь стоит Смоленск, не страшен
Король, свою поправший честь...—
И воевода встал:
— У башен
Велю я грамоту прочесть!

Оставят головы на плахе
Все доброхоты короля.
И пусть идут на приступ ляхи —
Мы отстоим в огне и прахе
Тебя, Московская земля!

Сильны мы волею народа,
А рухнут башни подо мной...
— Дозволь, боярин-воевода,
Просить о милости одной.
— Проси!

— В Смоленске ратных мало,
И стены некому беречь.
А я мечом владел, бывало,
Вели, боярин, дать мне меч.—

Но воевода сдвинул брови
И руку вытянул вперед:
— Ступай в поля,
В леса,
В дубровы
И поднимай за Русь народ!

V. У боярыни

У хором воеводских столпились боярские жены,
Все равно, как на жальнике, заголосили впричет:
— Животы наши забраны, вотчины наши сожжены,
Кровь отцов и мужей наших лето и зиму течет.

Слышь, как пушки палят, не заделать пробоин и трещин.
Покорись, воевода, не слушайся черных людей,
На московский престол Владислав-королевич обещан,
И король Жигимонт нам не ворог теперь, не злодей.

Так почто ж супротивничать будешь ему, воевода,
Нас в сиденье осадном под медленной пыткой держать?
Брось упорство свое, распахни городские ворота,
Поклонись королю и впусти королевскую рать.

И сказал воевода: — Не вы подставляете груди
Тут под пули чужие. Ложитесь не вы головой.
Королевские милости знают московские люди,
А сладки ль эти милости — скажет свидетель живой.

Выходи, Колобок, похвались, Колобок, нам с крылечка;
Каково на Москве вам за панами стало житье?
— Похвалюсь, воевода, как станет хвалиться овечка,
Когда снимут под осень косматую шубу с нее.

Похвалюсь, воевода, как будешь хвалиться ты, в терем
Душегуба захожего ночью осенней вступив...—
А боярыни прут: — Мы глумцу-скомороху не верим,
Потому — скоморох он, рассказывать сказки ретив.

— Что ж,— вздохнул Колобок,— если сказывать
сказки негоже,
Я могу вам, боярыни, сущую правду сказать.
Патриарх Гермоген не чета скомороху, а тоже
На кремлевском подворье пришельцами заперт,
как тать.

Он указ подписать не хотел под ножом Салтыкова,
Чтоб сдалися смоляне, как овцы, ватаге волков.
На меня ж, скомороха, не сыщут запора такого,
Мастера иноземные сделать не могут замков.

Я — Овсей Колобок,
Я от бабки утек,
Я от дедки утек,
Как от пришлого люда
Отсюда
Не утечь Колобку? —

И потрогал гудок на боку.—
Прощевай, воевода, прощайте, смоленские люди,
Не кляните, коль словом я, словно крапивой, обжег.

У скудельной избы Колобок оглянулся. На груде
Мертвых тел пеленой похоронной белелся снежок.

А у башен стояли суровые сторожевые,
Коченея, сжимали рогатины и бердыши:
— Не откроем ворот, королю не сдадимся живые,
Пусть нас мертвых казнят. Так про нас на Москве
скажи.

VI. Плач о разорении земли русской

Шел Овсей Колобок по тропам и дорогам,
Ночевал на заимках, в починках и селах.
И под каждым окном, и за каждым порогом
Слышал скорбную повесть о днях невеселых.

На пути, как в недоброе время Батыя,
Даже ветер кусты обходил осторожней.
Попадались все чаще деревни пустые
Средь забытых лугов и неубранных пожней.

Замолкал у околиц гудок скомороший,
Где, дымясь, обгорелые бабки торчали.
И метель по зиме не закроет порошей
Ни обиды народной, ни горькой печали.

Кто ушел, позабудет об этом едва ли,
Пепел крова родного по ветру рассея.
Скоморошьи запевки заплачками стали
Над поруганной русской землей у Овсея.

То не туча со громом, с перкучею молнией
Обложила все небо с восхода до захода,
То нахлынула рать иноземная
На великую землю русскую.

А большие люди московские,
Все боярских родов да княжеских,
Позабыли преданья отцовские,
В Кремль ворота открыли недругам.

Королю пишут льстивые грамоты,
Для себя каждый ищет милостей,
Один просит — дай мне стольничество,
Другой просит — дай окольничество,
Третий просит — дай поместье мне,
А за Русь заступиться и некому.

Опустели наши хижины,
Города и села выжжены,
Сыновья наши порубаны,
Жены наши в полон угнаны,
А за Русь заступиться и некому.

Подымайтесь, люди русские,
Городские и посельские,
Кто не слеп, кто не глух, кто не крив душой,
Не надейтесь на бояр со княжатами,
Выгоняйте вы рать иноземную,
Очищайте вы землю русскую,
Вашей кровью и пóтом политую,
Не надейтесь на бояр со княжатами!

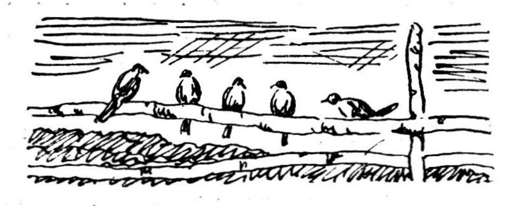
И ковали себе мужики шестоперы,
Самопалы прилаживали за плечами,
Хоронились в барсучьи глубокие норы
И шишами в стороже себя величали.

Подымалась на ворога Русь городская,
Деревенская Русь ей на помощь спешила.
По земле по великой, друзей окликая,
Шел Овсей Колобок, и росла его сила.

Слышал — в Нижнем купцов уговаривал Минин,
Видел — пробовал старую саблю Пожарский.
Шел Овсей Колобок. Путь был труден и длинен,
Да пошел он по нем не по воле боярской.



Содержание



СКАЗКА МОЕГО ДЕТСТВА. *Повесть* 5
МНЕ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ. *Повесть* 107

СТИХОТВОРЕНИЯ

У родника

«Как мне жалко людей...» 175
«Я рос лицом к лицу с родной природой...» . . . 176
«От черемух на росных полянах...» 177
Семена 178
«О край глухариный...» 179
Земля 180
Хлеб 181
«Когда тебя в беде оставит друг...» 182
«Архитектор ты иль ваятель...» 183
«Чтоб в глаза тебе время глядело...» 184
«Издревле похвальбы не терпит наш народ...» . . . 185
«Всегда задумчива, скромна...» 186
«Я хочу, чтоб в стихах у меня...» 187
«Я вспомню детство — и увижу поле...» 188
«В юности мы спрашивали часто...» 190
Коктебель 191
Галька 193
Во время шторма 194
После шторма 195
Тюнино 196
«Весны предчувствие росло...» 199
«Журавли еще в полночь весну принесли...» 200

«Я знаю, ты встанешь...» 201
«Снег взялся водой...» 202
«В лесу, где дрозды промывают глаза...» 203
Первый дождь 204
«Вновь сквозь дым паровоза...» 206
«В честь весны отборных зерен горсти...» 207
«Вечерний ветер, тише вей...» 208
Ландыши 209
Варакушка 210
«Пишет девушку в поле художник...» 211
Речка-речонка 212
«Дождик теплый, дождик частый...» 216
«Платьев шелковых не шила...» 217
«Поле в дымке серебристой...» 218
«Чем бы наша модница...» 219
«То ли гречка цветет...» 221
«На опушке зной замешан густо...» 222
«Меж хлебами...» 223
«Хозяйки величавы и строги...» 225
Август 226
«Народ всему свой мудрый счет ведет...» 227
Заманчивость 228
«Цветет жасмин...» 229
«Утром в поле просторном...» 230
«В рассол для огурцов кладут пучок укропу...» . . 231
«В лугах ледок, прозрачный...» 232
«Мне по сердцу ясность...» 233
«Есть поговорка русская...» 234
«Не собирал я редкие словечки...» 235
«Видно, таким уродился я...» 236
Зазимок 237
«Вновь зимы настали сроки...» 238
Снегурочка 239
Пороша 240
Иней 241

На лыжах ночью 242
«Мне нравится искусство бочара...» 243
«Помнишь наши ночные прогулки?..» 244
Сказка о маленьком дровосеке 245
Из стихов о детстве 253
«Морозы — декабрю, метели — февралю...» 254
Из дневника 255
Русская песня 257
Лесная сторожка 259
Баллада о маленьком разведчике 276
Сестрица Аленушка 281
Мать 282

Наследство

Ярославна 283
К портрету Ломоносова 284
Тень Пушкина 285
Начало века . . . . —
Лицейские сады 287
Под небом Бессарабии 288
29 июля 1824 года 289
В Михайловском 290
Встреча на пути в Арзрум 291
Болдинская осень 293
Перед дуэлью 295
Бессмертие 297
Музыка 299
В Спасском-Лутовинове 303
Поэзия и жизнь 304
Лев Толстой 306
Левитан 309
Человек 312
Творчество 314
Скоморох Овсей Колобок (поэма) 318

Для средней школы

Николай Иванович Рыленков

СКАЗКА МОЕГО ДЕТСТВА

Повести, стихи

Ответственный редактор Г. В. Быстрова
Художественный редактор М. Д. Суховцева
Технический редактор Н. Ю. Крапоткина
Корректоры К. И. Каревская
и Г. В. Русакова.

Сдано в набор 29/IX 1975 г. Подписано к печати 26/III 1976 г. Формат 84×108 1/32. Бум. типогр. № 1. Печ. л. 10,5. Усл. печ. л. 17,64. Уч.-изд. л. 14,38. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1698. Цена 74 коп.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Рыленков Н. И.

Р95 Сказка моего детства. Повести, стихи. Второе издание. Рис. Ю. Игнатьева. М., «Дет. лит.», 1976.

335 с. с ил.

В книгу входят две автобиографические повести: «Сказка моего детства» и «Мне четырнадцать лет» — и избранные стихи поэта.

Р $\frac{70803-360}{М101(03)76}$ 255—76 Р2

74 коп.